

Никита вдруг обнаружил за отцом неладное: стал он проявлять некоторые странности, которые раньше не замечались. Прежде всего бросил пить горькую, раздружился с собутыльниками и взялся за ум. В деревне Ивана Глазунова считали человеком конченным, алкоголиком, а он взял и разом завязал, как говорится. Никто не верил, что шаг этот серьезный. Мужики склоняли его на выпивку, но он не уступал, не поддавался ни на какие уговоры. Это вызвало разные толки. Женщины судачили, что допился Глазунов, сердце кольнуло — испугался и бросил. А мужики свою теорию строили: пройдет время — опять запьет.

Но этому важному событию предшествовали другие, которым Никита не придавал значения. Сначала у отца появился новый знакомый, городской дядька, с которым он вел о чем-то тайные разговоры. Можно было наострить ухо, подслушать их, но у Никиты не было свободной минуты на такое занятие: после школы он сразу обедал и приступал к хозяйственным делам, чтобы отдохнула от умственного труда голова, потом садился за уроки, а вечером уходил на баловство, как говорила мать его о походах в клуб, на вечеринки. А Никита еще по учебникам истории знал, что подслушивать чужие разговоры считается подлостью, что это дело всегда оставалось делом шпииков и тайных жандармов, и надеялся, что отец сам ему расскажет при удобном случае о своем новом знакомом и о делах с ним. Но скоро их тайна раскрылась сама собой.

Однажды в районной газете появилась большая заметка под именем отца Никиты, Ивана Глазунова: «Неуважение рода своего». Заметка была так грамотно написана и такие мудрые мысли в ней раскрывались, что не оставалось сомнения: написал за отца тот городской дядька, который больше не казал в их деревню носа. Был он корреспондентом из газеты, как решил Никита, и сочинил заметку по словам отца. Но деньги за это почему-то получил отец и к удивлению всех не потратил их разом на выпивку, а куда-то спрятал со словами: «Это к празднику, к празднику».

Заметка отца «Неуважение рода своего» сделала жизнь Никиты, если не сплошным кошмаром, то беспокойства принесла ему немало. В день появления этой заметки к Никите сразу прибежали трое дружков с газетами и то ли в испуге, то ли волнуясь, стали расспрашивать, его ли отец написал эту статью. Никита хотел высказать свои подозрения, что написано это за отца корреспондентом, только подпись поставлена отцова, но утаил свои догадки, — кольнула его гордость за отца и за свой глазуновский род, — ответил, что отец не спал ночами, сочинял, давал ему проверять ошибки, расставлял знаки препинания — и вот что получилось.

На второй день в школе Никите пришлось отвечать очень многим все на тот же вопрос, слышать одобрительные отзывы учителей об отце и его сочинении. Трудями отца Никита стал героем, особенно в глазах девчонок. Он сразу всем им стал нравиться — и каждой хотелось понравиться ему, Никите, сыну механизатора колхоза «Рассвет» Ивана Павловича Глазунова. Ползали к Никите с насмешливыми вопросами и малолетки, стали спрашивать, правда ли он теперь сын писателя? Этим Никита отвечал оплеухами и подзатыльниками, чтобы не приставали. Понимать в таких делах что-нибудь они были малы, только поднимали лишний шум, надоедали.

Отец писал в статье, что война забросила его мальчишкой далеко от дома. Он повидал не один город, но нигде, как бы хорошо и красиво ни было, он не забывал свою деревню, свой дом и рвался к нему, на родину своих предков, чтобы продолжать их славное дело — пахать землю и растить хлеб. Из всех дорог он выбрал тогда одну, которая вела в родные края и привела к дедовскому порогу. И

сетовал он на уходивших в города из деревень парней, бросающих дело отцов своих, сетовал и на своих старших детей, прельстившихся городской жизнью, и боялся, что младший сын, Никита, по старым обычаям, кормилец своих родителей, тоже бросит дом, подастся в какой-нибудь город на легкое житье; уедет Никита, и некому будет отца сменить на борозде колхозного поля, когда ему откажут в работе руки.

И отца не оставили в покое. К нему тоже пошли люди, те, кто был согласен с его словами и мыслями, пошли на беседы, на выяснения: «Как быть?». И если раньше Иван Глазунов спешил при госте сообразать на бутылку, ловил удобный случай выпить, то теперь он спокойно беседовал с человеком, вел деловой разговор...

Никита рос и учился и не задумывался еще о дальнейшей жизни. Как и многим его сверстникам, ему хотелось стать шофером, манило небо и море. Куда-то его уже тянуло, влекло вдаль от родных мест, где жить становилось как-то скучно. Раньше он любил и камень-валун у дороги, на котором точили инструмент. Камень этот был для ребят и кораблем, и высокой горой и наблюдательным пунктом, и замком. Считался этот камень глазуновским. Не раз на него зарились люди, хотели разбить на мелкие куски и пустить на бут под печки, но убоялись взять чужое. Теперь этот камень стал ни к чему Никите, игры на нем отошли с возрастом, для точения инструмента есть в колхозе электрическое точило — отец пойдет на работу, захватит затупившийся топор, а в обед или вечером приносит наточенный словно бритва. И не нужен стал Никите инструмент. Раньше, маленьким, он тянулся плотничать, слесарничать, а с полной механизацией в колхозе — или вырос, не надо самому изобретать самокаты? — пропал интерес к вечным ребячьим хлопотам.

Отец как-то говорил Никите:

— Что вы за народ растете? Мы из прялок велосипеды мастерили, лестницы на седьмое небо громоздили, мечтали на пруду подводный флот соорудить, чтобы посмотреть, как там карась живет.

Этот разговор вызывал у Никиты улыбку, и была его улыбка выражением превосходства над той «темной», трудолюбивой мелюзгой, копавшейся с прялочными колесами. А он вывел из сарая мопед, рванул педаль — и кати хоть на край белого света. В небо спутники запускаются! Подводный флот на пруду, в иле — смех один! Колька Лазарев приехал после службы домой, рассказывал: вокруг земного шара проплыли под водой.

И вот статья отца: «Неуважение рода своего». Отец про него написал. Его, Никиту, старшие в деревне всегда считали уважительным мальчишкой, а отец такое выдал, что мозги набекрень свихнулись. Оказалось, что он не уважает весь свой род: отца, деда, прадеда, прапрадеда и еще прапрапрадедов; не уважает мать, бабку, прабабку. Но с прабабками, нужно понимать, не к ребятам претензии, а к девочкам, которые «задирают хвосты, как телята в жаркий день, и летят в чужой огород».

Что делать, за что браться в колхозе, чтобы «уважить род свой», Никита не знал, но и об отъезде куда-нибудь теперь думал сбивчиво: что-то там потускнел свет и люди стали казаться равными с ним, с его отцом, с дядей Петром из Верхней Гнилуши, другом отца. За всех «тех людей» Никита брал своего брата Григория, жившего в Москве, но летом и осенью приезжавшего в деревню: летом — на отпуск, осенью — за картошкой, яблоками, бараниной и птицей. В деревне все это росло и давалось как будто само собой, было в избытке — и брат Гришка грузил большую машину со спокойной совестью.

Отца в осенние приезды Гришки, когда он «грузился», не бывало дома, он куда-нибудь уезжал. Гришка обирал, грабил мать, готовую отдать сыночку в город, где все надо купить за копейку, отдать все до последней рубахи.

Все странности, случившиеся с Иваном Глазуновым, не закончились. Они стали разрастаться, углубляться и вызвали беспокойство у близких, и прежде всего у матери Никиты, Марии, которую всю жизнь звали Марией, а вдруг она слышит: «Мария Григорьевна!» Она и не подумала, что обратились к ней, а когда выяснилось, что все-таки к ней, приобиделась: «С каких это пор мне такой почет?» Сказали, что муженек велел так звать, что никакая она не Мария, а Мария Григорьевна, что была она Марией, да сплыла. Ей под пятый десяток — Григорьевна она теперь, Мария Григорьевна. И он Иваном Павловичем стал зваться. Сколько не тверди ему, как прежде, Иван — ухом не поведет. На Ивана Павловича отзывается.

Один человек рассудил, что так и должно быть, что возраст надо почитать. Это был друг Глазунова и их дома — Петр Сергеевич Лобанов из Верхней Гнилуши. С ним Иван Павлович Глазунов в юности в военные годы колесил по России, бывал во многих перепалках. С ним же вернулся в деревню, где Лобанов стал комбайнером и егерем. Петр Сергеевич ничего странного не нашел в том, что его друг бросил пить. Нормальный человек вообще не должен болеть этой болезнью. Надо голову и руки делом загружать, силу лишнюю расходовать на полезное, а выпивать в меру, если совсем не отказаться, не бросить. Петр Сергеевич всегда считал, что друг его не пропащий человек, что жива в нем воля и он ее в свое время покажет, — и вот показал. А статье его в газете он порадовался от души, в ней он не свои только мысли высказал, а многих стариков, кого бросили дети, словно собак или кошек. Трудно им тут на земле. А старикам не трудно было? И одним остаться легко ли?

Петру Сергеевичу не сказали еще о некоторых странностях его друга. Тетрадей он купил целую охапку, чернил три пузыря, сделал скворечник себе под амбаром, там и пропадать стал. Раньше хоть пьяным бывал, да на глазах находился, а теперь каждую лишнюю минуту в скворечнике своем — и не пускает заглянуть, чем таким занят. Подозревали, опять в газету пишет, и ждали со дня на день, чем еще удивит Иван Глазунов своих колхозников. Из-за него и на газету, кто не подписывался, подписались. Но другой статьи от него не последовало.

Странно повел себя и Никита. Он тоже взялся за ум, подтянулся в учебе и при записи в ПТУ не назвался в список, заявил, что потом посмотрит. Отказ от ПТУ обеспокоил почему-то директора школы, словно он заранее запродавал туда их всех, а может быть, и запродавал, дал слово тому директору или еще кому-нибудь, что выполнит им план своими учениками, а тут осечка. Никита Глазунов нацелился на девятый класс, за ним еще несколько человек последовали — он авторитетом стал для ребят с недавних пор — и лишь один поддался директорским уговорам, свернул на ПТУ, чтобы стать химиком-аппаратчиком.

Мать говорила Никите, что учиться до десятого класса стало дорого, надо платить за интернат, а в ПТУ и среднее образование получают и стипендией пользуются. Директор уверял, сразу и стаж пойдет.

Никита не знал, что такое стаж, вернее, знал, что это годы работы, службы или пребывания в какой-нибудь организации, но как он думал, мать говорила о пенсионном стаже.

А отец похвалил Никиту, сказал, что ученье — свет, а неученье — тьма.

— И на десяти не останавливайся, — посоветовал он. — Дуй прямой дорогой на институт. Должен же в нашем роду хоть один ученым стать. Они были бы, да войны проклятые. Подрастут ребята, а тут вот она тебе: то с саблями да тачанками, то с автоматами да танками — знай головы летят... А мужики у нас не были дураками, что по материнской линии, что наши, Глазуновы. Потому, наверное, и фамилия такая наша, что глаз они на хозяйство имели, сметку знали в делах. Твои дядя с грамотами по школе шли.

— А ты? — спросил Никита.

— Обо мне не спрашивай. Я без равновесия был... капризный... с характером... с дурным только, непутевым. А подумать, и я не из последнего ряда был. Не война бы, тоже, глядишь, наладился бы. Война перекос внесла...

Никита хранил у себя газету с отцовской заметкой и временами перечитывал ее. И конечно же, его задело, что о нем отец написал, будто теперь сын его совсем другой. Подкидываешь ему вилы со сломанным держальнем — сын и раз, и два перешагнет через них, а на третий поднимет и запустит в бурьян или яму, что не порадуетесь за эксперимент: без хлопот сам бы сделал. И он поведет, как они мальчишками сами приглядывались к инструментам и разному инвентарю, без подсказок и просьб брались ремонтировать, чтобы получить похвалу родителя.

Никита вспомнил, как часто ему попадались на глаза то перегоревший на рогаче черенок — мать охала, чугунок достать из печки нечем, перегорел держак, самой придется затесывать и насаживать заново; то топор без топорница; то лопата со сломанным черенком. Ее-то он и запустил к сараю, но угодил в канаву. Теперь стало ясно, что этим его приобшали к хозяйственным делам — и не пронять его было. Напечатанные отцом слова убедили, что самому надо за все браться, не ждать просьб. Живешь в доме — смотри за домом. Отец написал правду.

Никита принялся за осмотр хозяйства, но у отца во всем стал порядок, казалось, что ему, «наследному сыну», не за что и взяться. Но в застрехе нашлись трехрожковые вилы. Он и решил для начала сделать для них черенок.

В сарае на переметах лежали ошкуренные молодые осиночки, заготовленные летом отцом для разных нужд. Никита выбрал самую ровную, по руке толщиной, сбил сучки, отпилил концы, затесал — и вилы были готовы. Он отнес их в хлев и поставил на место старых, которые, казалось ему, не совсем удобны для выброса навоза.

Настоящий мастер, опытный, сразу опробует сам сделанное, но Никита и не подумал об этом, оставил и стал ожидать отзыва. И услышал слова матери о вилах лишь на второй день. За ужином она заговорила с отцом:

— Обнова, отец, твоя никуда не годится. Разучился ты, что ль, плотничать? Какой же чудак насаживал когда вилы, что они с навильнем навоза перевертываются рожками вниз?

— Какая обнова? — спросил отец.

— Сказала тебе. Вилы насадил седловинкой на держальне вниз. Стала навоз выбрасывать, а его не поддеть, сваливается. И старые зачем-то убрал?

Отец мельком взглянул на Никиту, мигнул тайком матери и проговорил:

— Переделаются вилы. Ошибся. С кем такое не бывает. А старые, что ж, старые, они — старые. Одни вилы, что? Меня на колхоз поставили плотничать. Ребята на волах пары поднимать, а мне грабли мастерить, вилы, окосья к сенокосу. Два дня поработал — снимают. Сергею Цыганова заместо меня к верстаку. Зависть его разобрала, выговорил правдами и неправдами себе мое место. Наделал он инвентаря — что ни возьмут, пропеллером крутится. Послал меня бригадир с топориком на луг исправлять его брак. Получил он за это себе прозвище Осиновый Пень.

— Вот откуда у него звание-то такое. Осиновым-то теперь его редко называют, все Пнем, — сказала мать. — И ты не заслужи прозвища. Брось свои затеи газетные, а то пуще голову забьешь и ложку мимо рта проносить будешь.

Это я сделал вилы, — признался Никита. — Завтра переделаю.

А, ну тебе-то простительно, — ответила мать. — Я думала, он мастерил.

Весной ожила земля. Пронесся паводок. Вернулись птицы. Никита готовился к экзаменам. Читал пройденную литературу за все восемь лет и копал огород. Отец

пахал, выжимал из трактора все его силы и много отдавал своих — сменщика не было. Он приходил домой уставший, ужинал, разминался, прохаживаясь по саду, у дома, и забирался в свою скворечню.

Сынок, — сказала Никите однажды мать, — надо посмотреть, чем хоть он там занимается. Какое у него таинственное дело. Лестницу приставим — ты поднимешься, заглянешь.

— Я не полезу, — отказался Никита. — Засмеют, кому скажешь.

— Поставить лестницу — я и сама заглянула бы.

— Я не хочу оставаться сиротой, — ответил Никита. — Окно высоко, надо две лестницы связывать. И отец увидит — что скажет?

— Поругается да с тем и останется.

— Сам когда-нибудь скажет, чем он занимался. Не спит же он там. Пишет что-нибудь.

— Лучше бы спал, — сказала мать и ушла в дом.

Никита долго сидел под окном на скамейке, думал об отце. Чем он там в самом деле занимается? На молодую травку падала роса. На пруду кричали хрипато от скуки селезни. Высоко куда-то пролетали самолеты, блестящие на солнце, скрывшемся за горизонт. Никита был одет легко, промерз, но не уходил. Вдруг отец загремел стулом, показался у окна, погасил свет и стал спускаться по лестнице.

— А ты что не спишь? — спросил он, подойдя к Никите.

— Сейчас пойду. Холодно.

— Весенние зори такие. Вот распустится черемуха, соловьи запоют, станет теплее. Сейчас сидеть да сидеть бы, но усталость не дает. Что бы не сделать вам каникулы на время пахоты. Подменяли бы нас, все легче было бы.

— А я могу после школы пахать за тебя, — сказал Никита.

— Ты уж учись. Сдашь экзамены, тогда разделим с тобой день. Мне вот как надо закончить начатое дело.

— А какое? — спросил Никита.

— Ай, пока не стоит говорить. Смешное дело. Получится ли что? Сидела болячка у меня в душе, не знал, как от нее избавиться, да вот нашелся человек, надоумил...

— Из газеты? — спросил Никита.

— Он. Зашел я к ним прошлым летом в редакцию. Выпивши, конечно, был. Поинтересовался, не мог бы кто из них жизнь мою описать. Говорю, книжка может интересная получиться, денег много заработаете. С самым главным я разговаривал. А он меня и слушать не стал, направил в другой кабинет, к Сидорову. Сказал, что тот деньги любит и писать умеет. Сидоров тебе теперь знакомый. Этот деликатно меня выслушал и спросил, чем, мол, я после работы занимаюсь. Признался, мол, выпиваем большей частью.

— «Выпиваете, веселитесь, празднуете, а кто-то за вас должен работать. Дураков ищите, господин?»

— «Не за нас, за себя, — отвечаю ему.

— Я денег не возьму. Все ваши будут».

— «А мне не нужны деньги, — заявляет. — Я не люблю их. И своя жизнь еще не описана, все некогда, текучка заедает. Там сейчас главный сидит над чистыми листами и соображает, сколько мне строк задать. А засесть за свои дела все собираюсь, как каждый из журналистов. Брось пить, пиши сам о своей жизни. Лучше получится».

— «Что вы, — говорю. — Какой я писатель? У меня руки дрожат и грамотёнки не густо».

— «Руки и у меня дрожат. А чтобы не дрожали, надо быстрее водить пером. Я, правда, раз карандашом пишу, потом чернилами по карандашу, другой, конечно, текст. Бумагу экономлю. С войны не бросить привычку, — говорит он, а сам

строчит чернилами и впрямь по карандашу. Тут же телефон берет, звонит и спрашивает, сколько там-то в школе старшеклассников. — Вот, дожили. Учиться некому стало. У вас-то есть наследники?»

— Разговорились. Я тогда в военкомате с учета снимался. Свободный был. Ровесниками оказались. Его оставили на учете, технарь он, офицерское звание носит. И тут я ему поплакался. Действительную отслужил, в запасе сколько годов находился, а меня сняли с учета и не спросили, хочу ли я сниматься. Отштамповали — снят. Да что обидное, спасибо не сказали. Меня после того слеза прошибла. Полвека нужен был, за человека считали, про запас удерживали. А тут катись, не нужен, ничто ты и никто. Об этом бы еще стоило написать...

— И что потом? — спросил Никита.

— Завершил он свои дела, пообедать мы с ним сходили и поговорили. Вразумил он меня записи сделать — этим и занимаюсь. Только тяжкое это дело, скажу тебе, сын. Жалею, ах, как жалею, что поучиться не пришлось. Он, Сидоров-то, мне про Горького, мол, тот совсем неграмотен был, а тридцать томов написал. Но то Горький, а мы не Горькие. Однако свезу скоро ему, покажу, что у меня выходит.

— А нам почитать дашь? — спросил Никита.

— Я же вам рассказывал. Сколько раз повторял.

— Ты до конца никогда не досказывал. С одной истории на другую, с другой на третью — никогда не дослушать тебя было.

— Сколько историй, столько и рассказов. Мы в войну росли. С нами много чего было... Ну, ладно, Никитка, спать пора. Мне завтра добить клин и на другое поле перебираться. Погода стоит наша. Паши да паши. Тут до ста лет с учета не снимут, пока сам не попросишься. За вами наше освобождение.

На улицу вышла мать, посмеялась над отцом:

— Скворец слетел? На ночь-то глядя, что скворечник оставил? Или холод пробрал?

— Мам, не надо смеяться, — сказал Никита, боясь ссоры родителей.

4

В первую субботу после разговора с отцом Никита отправился к нему в поле, решив его подменить. Он с десяти лет пахал на отцовском тракторе, вначале садился за рычаги под наблюдением отца, а позже, с шестого класса, один мастерски гонял трактор с плугом. Когда отец пересел на «Беларусь», Никита поработал, обучился управлять колесным, но не полюбил его и лишь изредка приходил на подмену, когда бывало отцу неотложное дело дома или где-нибудь на стороне.

Уже всходили ранние яровые посевы. Розовела от всходов черная земля. Среди полей казалось так просторно, бескрайне, будто и не было деревень: все поля и поля. Небо было безоблачное, тоже просторное. В небе пели жаворонки. Одни опускались к земле, дөпевали песенку и падали стремительно вниз, попискивая, будто и не имели певческого голоса, другие взлетали в зенит, к тем, которые пели на такой большой высоте, что не каждого можно было отыскать взглядом.

Трактора чернели за третьим перевалом, бегали, словно муравьи, потерявшие дорогу к жилищу. В балке слева темнел дубняк и зеленели островками осинник с черемухами и ивами. Все в природе казалось молодым, легким. От этой весенней свежести вокруг Никита и себя почувствовал невесомым, запрыгал через ножку, подвистывая в такт бега, разошелся и подался бегом — бежал до легкого подъема, будто кто за ним гнался, одолел подъем и покрыл, не останавливаясь, спуск в низину, где захватило дыхание, остановила усталость.

По низине от леса тянуло приятной прохладой. Никита оглянулся, не видел ли кто его бегущим, подумалось, что со стороны он казался смешным в беге. Вдруг ни с того ни с сего взял и побежал. Видимая дорога была безлюдна. Он расстегнул

рубашку и стал обмахивать грудь. Вспомнилось, кто-то говорил, чтобы восстановить дыхание, надо несколько раз глубоко вдохнуть через нос полные легкие воздуха и резко выдохнуть. Остановился и отдышался.

Пахали землю под просо. Было четыре трактора. Казалось, работали наперегонки. Каждый вспахивал свой отхват.

Никита встал у отцовской межи, узнал трактор по красному вымпелу, врученному отцу как лучшему пахарю. Отец, подъехав, остановил трактор и сошел на землю.

— Что случилось, Никита? — спросил он.

— Ничего не случилось, — ответил Никита. — Попашу за тебя, а ты иди домой.

— А с уроками как? — спросил отец.

— Там порядок.

Отец взглянул на солнце, взял с плуга лопату, сказал:

— До вечера тебе этого отхвата вполне хватит — паши, а я зайду в лесок, орешника накопаю. За дорогой посадим вечерком. Пусть растет, зеленеет.

— Так оставь — я привезу, — сказал Никита.

— Сам донесу. Паши.

Никита взобрался в кабину и повел трактор. Отец посмотрел на работу и направился к лесу. Сколько он уже переносил на пересадку деревьев, кустарника, чуть ли ни парк решил разбить у дома, — и еще мало ему посадок. Напахался с утра-то, а пошел за орешником.

«Ах, это же он решил с дядей Петром соревноваться, — подумал Никита. — У того такие дебри. Даже редкие деревья растут. Он давно этим занимался. А могут вырасти и наши — красиво тоже будет. И что отец раньше не сажал. Да и я мог бы...»

Когда Никита учился еще в младших классах, он мечтал обсадить деревьями все овраги, сажал вблизи деревни, но они не принимались без полива, а прижившиеся уничтожала скотина — и он отступился от этого дела. Тогда и возле дома он посадил несколько деревцев, поливал их и оберегал от скотины и ребят, в спорах грозившихся поломать его насаждения, — и деревца, переболев, набрали силу и разрослись так, что уже и не требуют присмотра, что только топором их можно срубить. Охоту к посадкам деревьев отбил брат. Однажды он посмеялся, что у Никиты нет никакой фантазии, натякал перед окнами осинок, словно их в лесу мало. Нашел чем удивить людей. Сажать, так голубую ель или кедровую сосну, а еще лучше виноград вырастить, чтобы не покупать привозной, а свой рос бы.

Никита тогда загорелся разведением винограда, сказал об этом отцу, но не вовремя, отец был в праздничном настроении, поддержал его, сказал, что надо побольше насажать виноградной лозы, чтобы потом можно было возить в Молдавию продавать виноград. И не сразу отец тогда объяснил, что виноград растет только в теплых краях. А Григория он обзвал тогда пустоболтом и Маниловым в современной шляпе.

Поле шло на подъем. Трактор тянул плуг с заметным усилием. Отхват закончился верхним краем у лесополосы. Отец помнил, когда сажали эти лесополосы. Шла борьба с суховеями, борьба за высокие урожаи. Сажали деревца и кусты в голодные годы. Березы выросли большие. Люди не голодают и вырубают теперь деревья на дрова. Новых полос нигде не сажают почему-то, как будто нет мест, где только и сажать деревья, где потом начинают расти грибы и ягоды, а без деревьев и трава не растет.

Под уклон трактор шел легче. На других отхватах трактористы прибавляли скорость, переключил и Никита, прибавил ходу, но снова сбросил на прежнюю: на большой скорости стала мельче борозда.

«При отце они так, наверное, не гоняли? — подумал Никита. — Он ушел — решили опередить. Пусть опережают. Потом на их пашне ничего не вырастет».

Однажды отец пахал с Серегой Цыгановым под картошку. Вспахали, посадили,

но картошку не собрали. Ботва выросла, а клубней не нашли. Пахали они долго, не ладилась у них работа из-за магазина. То один, то другой отоваривались и днями просиживали в борозде, а когда праздник кончился, подняли сошники, на высоких скоростях сняли корочку земли, похоронили клубни, окучили кое-как комьями. Картошка укоренилась, а клубням расти не в чем было: они любят мягкую землю, в твердой не разрастаются. Отец об этом вспоминать не любил, стыдился. Серега Цыганов с гордостью отвечал: «Уметь надо работать!» Отец же бурчал, пряча глаза от собеседника: «Пороть за такую работу стоило бы, публично пороть».

Трактор работал исправно. На нижней меже Никита очистил плуг и снова повел машину на подъем. Мотор что-то выговаривал. Никита стал подбирать слова, подошли: «Ух ты! Ух! Ух!» За выговором этого междометия что-то позванивало, встряхивались струнные звуки и прорывались то басы, то голоса гармони, словно в тракторе был помещен оркестр.

Никита сжился с машиной, твердо вел ее вдоль межи. Передний сошник задником шел вровень уступа межи, не оставляя огрешка, который был бы незаметен, скрыт отвалом земли. Так делают некоторые трактористы, хитрят, чтобы побольше вспахать, вытянуть повыше зарплату. Отец всегда пахал как требовалось. Один лишь раз сбил его Цыганов. Но с того времени отец стал пахать в одиночку. И когда требовалось сделать больше, он не жалел своего времени, работал от темна и до темна, как говорил, пока не уставал конь.

С каждым объездом ширилась полоса вспаханной земли. При подъеме солнце теперь светило в глаза, слепило. Оно перешло к западу, но еще смотрело вниз, словно в бездну, куда неминуемо должно было сорваться. Казалось, оно остановилось, но через миг покатится вниз неудержимо быстро. Сгорит зря и все станет вокруг черно, словно пашня.

Два трактора стояли в низине. Трактористы курили, ждали третьего, видимо, настроились к дому, наработались. Никита не заметил, когда они отъехали, увидел трактора уже на дороге, по которой он бежал сюда. Выбрасывая дымки, машины гнались друг за дружкой, словно спешили к чему-то, боялись опоздать. Никита остался на поле.

Под закат солнца Никита отбил новый отхват. Над лесополосой поднималась высокая березка, послужившая ориентиром. Он остановил трактор, сошел размяться на земле, осмотреть плуг, машину. Солнце обстреляло последними лучами высокие редкие облака и кануло, словно в темный омут, взмутило над землей воздух и погнало тени, словно испуганные стада, сблизило перелески, силуэты ближних деревень и выровняло округу.

Трактор работал тихо, передыхал. Никите не хотелось ехать домой, пахал бы до утра, но в баке на исходе было горючее, много не напашешь, надо поработать и добраться до заправки.

— Отдохнул? Двинем дальше, — сказал Никита трактору и поднялся в кабину, где после полевой прохлады было жарко.

Никита включил свет — и весь простор округи замкнулся в световой воронке, стал вливаться в нее и густой черной массой вытекать из-под плуга.

В понедельник в школе ребята будут рассказывать о своих похождениях в выходной, кто-нибудь подерется, кто-то отличится на танцах в клубе, кому-нибудь удастся съездить в город. Никита заранее знал, как будет завязываться в коридоре разговор, кто возьмет верх в похвальбе, выставится героем, а дела других перечеркнет, как малозначащие. Ему нечем будет похвастаться. Сказать, пахал за отца, — на смех поднимут...

Никита вдруг спохватился — не доехать до дома, остановил трактор, отцепил плуг и покатил к дороге.

Отец встретил его вопросом:

— Что так долго? Поломался?

— Пахал, — ответил Никита. — Солярка кончилась, я не прикатил бы так рано. Сейчас хорошо пашется! Легко и никто не мешает.

— Добил тот кусок? — спросил отец.

— Давно. И новый отхват сделал.

— Гони трактор к заправке, прибегай, ужинать будем. Тебя ждали...

Никита лишь утром заметил ореховые насаждения. За ужином узнал, что отец принес орешника и посадил целую аллею. Слова отца обещали не только зеленые кусты, но и спелые орехи. А увидел Никита тоненькие серые побеги, словно веточки прошлогодней поляны.

— Ну что? — спросил отец, направляясь за трактором. — Красота какая будет?

— Я думал, уже есть, а она еще когда-то будет, — с улыбкой ответил Никита.

— А ты не смейся. Ты вообрази только. Года через три-четыре тут такие кусты разрастутся! Можно бы посадить сразу большие орешины, но они труднее приживаются — тут наверняка.

— Долго ждать, — ответил Никита. — Но посмотрим, что будет.

— Когда уже есть что ждать, время летит быстро. Да деревья и не утомляют ожиданием, радуют. Они каждой веточкой новой оправдывают надежду. От скотины оградим, три-четыре раза польем — пусть растут.

— Орехами торговать будем или сами грызть? — спросил Никита.

— Глупый ты еще, — ответил отец. — Разве дело в орехах. Дело — в красоте. Я когда на службе был, каждое деревце, каждый кустик издали видел, радовался, что они росли у нашего дома. Радовался, гордился и тянулся к ним. Может быть, из-за этих деревьев я и нигде не задерживался, домой прикатил. Тебе все это еще предстоит пережить. Вспомнишь мои слова... Да, а нам надо бы съездить с тобой к деду Одинару, помянуть его и на камушках посидеть. Он больше всего любил эту пору, говорил, что земля просторнее становится, когда яровые всходят, и тогда обязательно надо ходить по ней. Он, бывало, в это время всю родню навещал... Ты не приходи на поле. Мы там добьем клин рано. Вернусь, сходим в Поповку... Не отлучайся.

— Ладно, — ответил Никита и проводил отца взглядом до схода в низину.

Прадеда своего, Одинара, Никита никогда не видел, но много раз слышал о нем рассказы отца — и словно знал его лично, сживал у него на коленях.

А все потому, что Никита вечно сопровождал отца с малых лет и слушал все его нескретные разговоры. В памяти и остался портрет прадеда, созданный его детским воображением. Что-то словно подтолкнуло Никиту, заставило подняться в отцовский мезонин. Дверь оказалась открытой. Он выглянул во двор, никого не заметив, вошел и осторожно притворил за собой дверь, задвинув внутренний шпингалет.

На столе лежали две стопки тетрадей. Одна стопка была темная, тетради потертые, со следами отпечатков мазутных пальцев, вторая — чистая. Никита, словно вор, дрожащими руками потянулся к исписанным тетрадям, заглянул в верхнюю, прочитал: «Продолжение». На обложке стоял двадцать первый номер. Никита переложил тетради, взял первую и прочитал: «Длинная жизнь Ивана Глазунова. Воспоминания и мысли».

Никита полистал тетрадь, посмотрел на почерк. Он не был ровным, натренированным. С первых страниц шли каракули, потом буквы выравнивались, дальше измельчались, становились экономными и более красивыми. Начальный почерк был похож на почерк брата в его редких письмах. Если человек не пишет долго, он разучается писать и гоняется за буквами по бумаге, как за молодыми перепелками: вроде догнал, а они порх в разные стороны — и не поймать. С некоторой неловкостью самовольного открытия чужой тайны, Никита начал читать

записи:

«Я уже и не помню когда и с чего началось моя жизнь но она оказалась такая длинная что стала надоедать мне и если бы не надоумел меня один хороший человек описать мне все мои похождения! Я и не знаю что со мной стало бы но хорошего скажу без секретов ничего не дождался бы потому что вдарился я с дурной своей башки в беспросветное пьянство свиной настоящей стал и даже восне хрюкал на всех. И книжек я тогда не читал. Возьмешься бывало за нее поклюешь носом и ниодного словечка не запомнишь».

«И зачем мягкий знак зачеркнул? — подумал Никита. — Две точки да один восклицательный знак зачем-то поставил. Ни одной запятой нет. В школе за такое сочинение кол схватил бы».

«У нас Коля Захаркин говорит что от водки и всего спиртного мозги разжижаются и все в них утопает потому и не помнят люди ничего после пьянки. Но я могу ему теперь возразить что от всяких там борматух мозги твердеют схватываются как цемент и ничего в них не проникает. Отскакивает как горох от стенки. Но хватит об этом деле гнусном. Начну все по порядку...»

Послышался шум тракторного мотора. Никита поспешно положил на место тетради и, спустившись на землю, с лопатой ушел в сад, чтобы не вызвать подозрений отца, что заглядывал в его кабинет.

Трактор остановился перед домом. Отец сразу поднялся наверх, видимо, вспомнил, что забыл закрыть дверь, позвал Никиту.

— Не забудь, сын, куда пойдём перед вечером. А до этого с уроками наведи порядок.

— Все будет сделано, — ответил Никита. Отец ушел к трактору и укатил в поле. Никита принялся перекапывать под яблонями землю, сожалея, что отец закрыл под замок записи.

— «Дал бы их мне, — думал Никита, — я хоть запятые поставил бы и ошибки исправил. И чего он такой неграмотный? Работать умеет, а грамоту не знает».

Перед уходом на работу мать зашла в сад и наказала Никите, что ему сделать до обеда по дому и где взять поесть, если проголодается. И Никита остался один дома и за хозяина, и за работника, и за сторожа. Когда он был меньше, то сторож из него был необязательный: мать с отцом за порог — он летит сразу же за товарищами, часто и двери оставлял открытыми. И работником он был ненадежным, не каждое задание выполнял до конца, с честью, а то и вовсе рук не прикладывал ни к чему, кроме еды. Теперь его не тянуло особенно от дома. Ему вдруг полюбилась работа в саду, в огороде. Лишь сошел снег, в теплый солнечный день он обрезал засохшие и лишние побеги на яблонях и грушах, проредил вишеник и очистил от старых побегов малинник.

Наработавшись, Никита устраивал перекур. Он садился на солнце, распахивал одежду и подставлял грудь и лицо солнечным лучам. В такие минуты хорошо думалось, словно читалась своя, невидимая глазами книга. Теперь Никита работал без майки. Он освободил от осенней засыпки перегноем корневые шейки яблонь, перекопал землю под кронами и сел отдыхать, подставив солнцу спину. Глаза закрывать не требовалось и Никита рассматривал букашек на земле и на стене сарая. Все куда-то ползли, копошились. Мухи отогревались после зимней спячки. Где-то сохранились. Ни мороз их не уничтожил, ни птицы. Они уже начинали липнуть, мешать отдыху.

— «И зачем созданы такие твари? — думал Никита. — А может быть, и от них есть какая-нибудь польза? — Никита улыбнулся при мысли. — Лентяям мешают сидеть без движения, заставляют отмахиваться».

Никита перевел взгляд на сложенные под навес пустые ульи. Давным-давно у них были пчелы. Ухаживала за ними бабушка. Он боялся пчел. Когда бабушка смотрела рамки, он откуда-нибудь из укрытия наблюдал за ее работой и следил, не отломит ли она ему сот с медом. Не всегда ему удавалось уследить, потому что

часто приходилось давать драпака от налетевшей мухи или шмеля под страхом пчелиного укуса. Но мед он получал частенько, когда пчелы уже работали на взятке. Бабушка говорила, что нашелся на рамке неверный уголок вошки с медком, пришлось его отломить, направить ровно по рамке соты, чтобы потом без хлопот качать мед медогонкой.

Бабушка освобождала лицо от сетки, от нее пахло дымком и воском, а глаза были веселые и добрые. Но когда она стала хворать, то часто сокрушалась, что отец не берется за хозяйство, что все нажитое за многие годы пойдет по ветру, что Гришка шалопутен растет, а он, Никишок, вяло в рост поднимается, словно не желает тоже заступить ее возле пчел. Никита говорил бабушке, что заступит ее, пусть только помрет — и он заступит. И за такую готовность стать пчеловодом над ним долго смеялись и подтрунивали. Он злился и заявлял, что никогда ничем не будет заниматься, — и не занимался.

Пчел отец продал. Несколько ульев осталось, но они не выжили без бабушки и одной зимы.

Никита встал и подошел к ульям. Он снял крышку. Из улья пахнуло затхлостью. Вошина в рамках была изъедена насекомыми. Рамки были легкие. Раньше даже в бабушкиных руках чувствовалась их тяжесть, и цвет отдавал металлом. Сейчас не на что было смотреть.

Никита сходил в сарай и принес веник...

До прихода матери на обед Никита очистил от мусора и грязи ульи и выставил их на солнце.

Отец приехал с задержкой на обед. Мать уже уходила, отдавая новые указания Никите, когда подкатил трактор и встал на место продолжительной стоянки.

— Ну, вот и летописец явился, — сказала мать и добавила: — Видать, больше не поедет до утра. Вдвоем погреб очистили бы. Потом, когда так час выпадет.

— Отец говорил, наверное, мы куда-то с ним должны будем сходить, — сказал Никита.

— Это еще куда? Не в гости ли надумали, да не праздник вроде?

Отец вошел в дом, скомандовал:

— Никита, воды мне, полотенце, рубаху с брюками. О, и мать дома, за занавесками прячется. Помогите сыну с одежкой мне.

— Далеко ли наострились? — спросила мать.

— В Поповку, родимая. К деду Одинару надо, — ответил отец.

— На могилу в родительский день ходят. Погреб очистили бы...

— В родительский день очистим, родимая. Отказаться не можем, так было запланировано заранее, — объяснил отец.

— Все не как у людей, — заворчала мать. — Планировать надо со всеми вместе, а не тайком от других...

Продолжая упреки, мать вышла за порог и, не оглянувшись на мать, как бывало всегда, ушла к колхозным амбарам.

— Пап, а может, не пойдём — в другой раз? — спросил Никита.

— Это почему же?

— А мать обиделась.

— Разве обиделась? — удивился отец. — А мне показалось — обрадовалась. Ничего, сын, переживется. Я тебя, по сути дела, совсем маленьким туда возил. Ты, верно, и забыл, когда это было. И к Сергеичу в Верхнюю Гнилушу заглянем на обратной дороге. Давно не видал его. Самому некогда с севом — и он видать, в делах тоже — не вырваться.

Никита лил воду отцу на голову, на шею, на плечи и рассказывал о делах. Отец, отфыркиваясь, переспросил:

— Ульи, говоришь, очистил? Сушатся на солнце? Молодец. Я тоже давно поглядывал на них... Только с солнца убрать надо, стенки покорежит. В тенечке сквознячком проветрятся, постепенно. Вот, кстати, Петру Сергеичу и заказ на рои

дадим. Ранних чтобы отвел... Да, без своего меда как-то неловко, кислогато. Будем разводить. Гришке надо написать, чтобы там в Москве поглядел в магазине пчеловодном недостающего нам для этого дела. Свое за давностью подевалось куда-то.

6

Ветерок, обволакивающий теплом, дул с юга, в левый бок и спину. По горизонту над пашнями воздух качался легкими волнами, тек над полями, словно речная вода. Глазунов-отец оглянулся на оставшийся позади последний деревенский дом, заговорил:

— Это сколько же прошло с сорок первого лет? Сейчас — восемьдесят первый. Выходит, ровно сорок. Ты смотри, сорок годов! Как время-то наше летит!

Никита знал, что в сорок первом году началась война, Великая Отечественная, и подумал, что о ней отец и будет вспоминать. Он же не был настроен на разговор, не хотел глушить словами легкое настроение и беглые думки, шел молча.

— Сорок лет кануло, а дорога, какой была, такой и осталась. Как рос этот раkitовый куст, так и растет. Правда, сейчас пышнее стал, а раньше весь обшарпан был. И знаешь почему? Не знаешь. И подумать не хочешь? Ну, так батька тебе скажет, почему. Раньше на лошадях ездили, обламывали на погонялки, а теперь не требуется, вот и раскудрявился куст.

Сорок лет назад, осенью, правда, я сломил с этого куста хлыстик, оседлал его и поскакал по дороге. Славный был рысак... Смешно вспоминать, а тогда скакал, как заправский верховой. Скакал, скакал — и далеко ускакал.

Никита еще не знал, что об этом отец и написал в своих пока незначительных тетрадках, не успел прочесть. Он думал об Ольке Лобановой, которую предстояло увидеть в Верхних Гнилушах, которая все время ему сватает в невесты Лену Королеву, а ему Лена совсем не нравится, потому что нравится сама она, Ольга.

Дорога, как никогда, почему-то напомнила теперь Ивану Павловичу его самого, тринадцатилетнего Ваньку Глазунова. Была погожая тревожная осень. По стране бушевала война. Все колхозное добро было эвакуировано, мужики призваны в армию. В полях оставались не убранными хлеба. Все боялись прихода немцев. Люди боялись ходить из деревни в деревню в гости. Рождались слухи, что по округе бродят шпионы и диверсанты, что немцы уже в Москве и скоро займут всю страну. И слышался вопрос: что же будет-то?

Ответа никто не мог дать. И на хорошее никто не рассчитывал. Старые люди знали, что от врагов добра не бывает. Жить с каждым днем становилось страшнее и хуже. Не работала почта, не торговали магазины. В семьях таяли запасы соли, керосина, кончались спички. По утрам растапливались печи от сохранившихся в золе угольков. А у кого угли не выживали до утра, те ходили к соседям или в отдаленные дворы.

Ванька к тому году закончил пять классов. В семье он оставался за старшего, и дел у него хватало, как каждому хозяину дома. Но то хозяйствование для него было тогда детской забавой, вроде игры в хозяина. И он поднимался рано, вместе с матерью, одевался и выходил во двор к скотине, выгонял на траву овец, давал корове сена перед доением, осматривал погреб, стожки сена, амбар, проверял, не укрылся ли какой-нибудь захожий, чужой человек, потом подносил воду, дрова и обходил огород. Ребята с утра искали забав, томились бездельем, а он справлял все домашние дела, чтобы потом быть свободным.

В сентябре еще ожидалось, что вернутся свои, снова станет работать колхозное правление, пригонят из эвакуации лошадей и весь скот, опять зашумит прежняя жизнь. Но шли дни, и все глуше становилась осенняя пора, казалось, что сужается белый свет, округа, что все исчезло на земле, осталось лишь еще одно живое пятнышко — их деревня.

И Поповка казалась теперь далеко. Оттуда никто не приходил и не приносил слухов о родне. И не ведалось, как добраться туда, узнать, живы ли там свои близкие, наговориться с ними, решить, как жить дальше; может быть, сговориться жить одним домом, вместе встречать беду?

Ванька в августе съездил к деду Одинару, когда еще не эвакуировали колхозных лошадей. Дед оставался единственным крепким стариком в Поповке. Все его сыновья, зятья и внуки призывного возраста ушли на войну. Дед печалился об этом, но не показывал виду. Он знал: так бывало всегда, если враг напал на родную землю. Вставай и иди ему навстречу, чтобы он не разорил твой кров, не надругался бы над твоей матерью, женой, детьми. Враг — человек, но сердца человеческого в его груди нет.

Дед Одинар встретил внука без прежней любезности. Только и были его слова:

— Ах, это ты, Ванёк? — Дед сидел на лавочке под окнами, тупо смотрел в землю. Помолчав, он спросил: — Ну, говори, за каким пострелом примчался? Как там у вас?

— У нас-то хорошо. А у вас что? — спросил Ванька.

— И у нас благодать. Вчера тут еще власти были, а нынче не видать, сгинули.

— И наши собираются, — сказал внук. — В ночь лошадей погонют. Мне дали эту доехать, узнать и назад сразу...

— Всех лошадей-то сгоняют? — спросил дед.

— Подчистую. Калек свели на ветпункт, скотину вчера сгнали. Гусей увезли тоже, мед и овец.

— И нас очистили. А я еще и беды нажил. Такую угрозу получил — опомниться не могу.

— От кого, дедушка? — спросил Ванька.

— От нашего царя и бога, внук. Заставил он меня лодки пожечь. Сволочь надо было в кучки и подпалить — я на отказ пошел. Он на меня с криком. Я махнул на него рукой, ушел и людям объявил, какая над ними беда висит. Бабы с мальчишками, кто спрятали свои суденышки, кто притопил. Явился он на другой день ко мне, ну и выдал, во враги народа определил, понятых пошел искать, чтобы меня разом на этап взять, ну а я не дождался его прихода — огородами да в лесок: ищи ворона сокола. Передал, что вернется при оружии и самолично поставит меня к стенке.

— Это председатель ваш?

— Он, каналья! — вздохнул дед Одинар и добавил: — Вот и дежурю теперь под окнами, а на ночь укрываюсь в потайном месте.

— А зачем ему лодки жечь? — спросил Ванька.

— Так на лодках враг переправу через речку сделает. Мост-то разбросан.

— Ой, а я ехал бродом, там только копыта лошадь намочила, — сказал Ванька. — Зачем еще в лодки садиться. Если бы это Волга была.

— Ему этого не докажешь. Он и реки такой не знает. Только хваткой своей шустрой и взял себе власть над колхозом. А стрельнуть стрельнет. На это у него рука не дрогнет.

Дед отошел, стал теплее, роднее. Ванька не мог представить, чтобы его кто-то мог расстрелять, — такой он могучий. Таких и мечи с пиками не брали, сам Кашей Бессмертный не побеждал. Ванька, когда читал сказки, былины, всегда сравнивал сказочных и былинных богатырей с дедом Одинаром.

— Ты вот что, внучек, не говори бабам об этом. Они сердобольные, голосьбу поднимут, а это ни к чему. Сейчас без меня есть об ком плакать. Молчи с ними. Скажи, все живы-здоровы, кланяются и не велели переживать. А теперь я дам тебе гостинцев — и езжай зорькой, а то темень наступит.

Ванька тогда так гнал лошадь, что она взмылилась. Он боялся шпионов с диверсантами, которые могли отобрать лошадь, встретить председателя, вернувшегося за дедом, боялся волков, нечистой силы и быстро наступавшей

темноты, в которой казалось столько всего нечистого, что в живых и не останешься.

Красиво открывалась с возвышения Верхняя Гнилуша. Всегда радовал ее вид путника. Старший Глазунов помнил эту деревню с малых лет. Она была другой, как будто бы вся кирпичная, прочная, каждая изба под железом — и сады, сады, аллеи елей, лип, ракит и четыре больших и глубоких пруда, деливших деревню на две большие слободы. Об истории этой деревни Никита ничего не знал, но отец его помнил рассказы старших, что богачи этой деревни хотели построить здесь церковь и сделать деревню селом, центром округа, прихода. И уже были собраны на строительство деньги, было получено на то разрешение свыше, был заказан проект, но замыслам богачей не суждено было исполниться: революция освободила их от ненужной траты денег, лишних хлопот, не идущих на пользу бедного люда. Верхняя Гнилуша осталась деревней. Но какое-то время ее называли селом, пока не разобрались, что селение без церкви было деревней, деревней и должно оставаться, каких бы дворцов в ней ни построили.

Теперь Гнилуша стала шиферной, но дома стали разные: и из красного кирпича, и из белого, и рубленые, и щитовые, финские домики, легкие, красивые, но не вечные, похожие на времянки, сколоченные на скорую руку. Но всю эту «невечность», непрочность видел Иван Павлович Глазунов, пустившийся в анализы прошлого, настоящего и взгляды в будущее. Никите Верхняя Гнилуша виделась родной деревней. И сейчас он подходил к ней с бившимся часто сердцем.

Здесь жила Оля Лобанова. Сейчас он с отцом пойдет к ним, увидит ее, — с субботы, со вчерашнего дня не видел — вечность. И вот он увидит ее, узнает, что она дома, что с ней ничего не случилось. Она, конечно, будет держаться, как всегда, с вызовом, не подступись, не задень ее. Она или хитрит, или не догадывается, что нравится ему больше всех на свете. И он сказал бы ей об этом, но считал такой разговор постыдным, неловким, считал, что об этом надо уметь догадываться без слов. Но как бы она ни выставлялась перед ним, ему все равно будет приятно от свидания с ней и после этого разные думки отлетят как горох от стенки...

Никита боялся, что отец за перекрестком свернет на луг и пойдет ближним путем на Поповку, не заходя к Лобановым, изменит решение зайти на обратном пути. Никита решил заговорить отца, спросил:

— Пап, а куда эта дорога идет?

— А никуда. Рабочая. Раньше, говорили, лес по ней вывозили. Там засеки дубовые были, царские, охранные. От набегов татар в них оборону держали. А потом они пошли на строительство города. Дуб могучий рос... А теперь хлеб с полей по ней возят, корм. И лесочек там сохранился. Ты разве еще не бегал туда, в те края?

— А зачем? — спросил Никита.

— Ну, кто ж в твои годы спрашивает «зачем»? А ни за чем. А так, для интересу.

Они прошли поворот на луга. Иван Павлович вдруг остановился, обернулся к пройденному, взглянул на солнце, на тени леса, брошенные с вершины на полуостров, и отмахнулся от намерения возвращаться назад.

— Проговорили поворот. Я думал на обратном пути зайти к Петру, чтобы время не терять, но уж так и быть, зайдём и сейчас, и на обратном пути. — Отец зашагал быстрее, спросил: — Ты давно у них не был?

— А зачем мне к ним? Давно, — ответил скороговоркой Никита, краснея.

Отец взглянул на него и отвернулся с улыбкой. Они поднимались в гору, вошли в тень от старых сеней, росших вдоль огородов.

— А Ольга тебе разве не нравится? — спросил неожиданно отец.

— Что? — спросил испуганно Никита и нагнулся, стал поправлять ремешок от сандалии.

— Ольга Лобанова тебе не нравится?

— Зачем она мне? — ответил Никита, подтягивая носок.

— Не в кошельке носить, как медальон. Я так спросил. Вроде она должна нравиться мальчишкам?

— Не знаю, — стушевался Никита. — Мне она ни к чему. Я об этом еще не думаю.

— Ну-ну, — сказал отец и стал осматривать дома по порядку, проходя мимо каждого.

А Никита был недоволен словами отца об Ольге. Разве можно об этом говорить, да еще с отцом, когда он еще с лучшим другом не поделился своими тайнами.

Приближался дом Лобановых. Никита теперь жалел, что они не свернули на луга. Он думал, что отец сразу догадается о его влюбленности, потому что казаться равнодушным к Ольге при родителях он теперь не сможет и выдаст себя с головой. Он стал придумывать предлоги, чтобы не заходить в дом, остаться у калитки...

Лобановых не было дома. Отец нашел в карманах коротенький карандашик, бумагу и написал им записку:

«Петр, где же тебя носит? Заходил с сыном. По пути из Поповки заглянем еще. Глазуновы».

— Поздно будет, пап, — сказал Никита.

— К друзьям, к настоящим только, никогда не бывает поздно заходить, — ответил Иван Павлович. — На лугу-то я подумал, что их может не быть дома в такой час, — вот оно на то и вышло.

8

А тогда, поздней осенью сорок первого года, Петька Лобанов был дома. Он мастерил поджигатель, когда Ванька, его одноклассник Ванька из Засеки, зашел к нему в избу. Петька вооружался не для баловства, а на случай прихода немцев в деревню. С ним «ковали» оружие еще двое ребяташек, помогали ему. Эти были моложе. Ванька их не знал.

— А, Ванёк, — сказал Петька. — Чего явился? К вам не пришли еще?

Нетрудно было догадаться, о ком спрашивал Петька.

— Нету. А у вас тоже не были? — спросил Ванька.

— Ползут. Вчера из Аникановки у нас ребята на тачанке были. С «максимом». У них там наших разбили. Они ночью стибрили пулемет, гранат набрали — и катают по деревням.

— А немцы что?

— А немцы куда-то пошли без останову. О, они как дали очередь по овцам — двух скосили, забрали и на Поповку укатили. Настоящие чапаевцы. А ты куда?

— На Поповку, к деду. Пойдем со мной? — пригласил Ванька.

— Без поджигателя? — спросил Петька.

— Его же несорок сделаешь. Пойдем так.

— А если немцы?

— Мы лесом пойдем. Они не увидят нас.

— Далеко лесом.

— Не хочешь — я пошел, — заявил Ванька и шагнул за порог.

Воздух был сырой, несло осеннюю морось. На бурьяне и травинках светлели капли воды. По огородам слонялись телята, в проулках под стенами изб и сенец дремали куры. Ванька прошел несколько изб и услышал сзади торопливые шаги. Оглянулся. Его догнал Петька.

— Пойдем. Поджигатель потом доделаю. Поглядим, что там натворили аникановские. Наверно, тоже палили по деревне.

— А чего-то они по своим стреляют? — спросил Ванька.

— Самогонки напились, пьяные, — и палят. Наши хотели на них заявить, а некому. Ух, вот бы нам с тобой такой пулемет! Вот бы мы постреляли! По лесу бы как пальнули!

— А если там люди опенки собирают или дрова? — спросил Ванька.

— А мы поверху, по макушкам бы. Вот макушки с дубов летели бы! Правда?

— Лучше по немцам пальнуть, — сказал Ванька. — Лес портить, он еще пригодиться.

Петька был горячим, мечтательным. Он хотел сразу делать многие дела, ни над чем серьезно не задумывался. Он шел до Поповки и все говорил и говорил. Он помчался навстречу немцам, перекошил их всех, влетел на тачанке в Берлин и убил самого Гитлера — и война кончилась. Такой был Петька Лобанов.

— Тише, — остановил Ванька друга. — Стрельнули.

Они остановились. В Поповке было тихо. И вдруг над их головами задрожал воздух, расступилась морось — и показался темный тяжелый самолет с черными крестами на крыльях. Они опустили руки по швам, вросли в землю и потеряли друг друга, омертвевшие стояли посередине большого поля с задранными вверх мордахами. Из самолета, перевесившись через борт, через большие черные очки на них смотрел чужой летчик. Петька вдруг сорвался с места и побежал к лесу с криком:

— Убьет! Убьет!

А Ванька, раскрыв рот, словно приготовился поймать пулю и выплюнуть ее, стоял попиком и не слышал Петькиных слов, лишь по нутру резанул его чей-то далекий вопль.

Казалось, что самолет летел очень долго. Когда он исчез из виду, затих его гуд, Ваньку отпустил страх, вернее, расковал. Он опустил голову, повернулся к другу — и не увидел его рядом.

— Петька, — прохрипел он и стал кашлять, бросая взгляд в небо, откуда по-прежнему сыпалась морось, обдавая влагой лицо.

Через некоторое время Ванька слышал голос дружка. Подумалось было, что его подхватил в самолет летчик, да и кричал он, как будто не с земли, но голос был недалече, его — Ванька отозвался.

— Иди к лесу. Скорее к лесу, — прокричал в ответ Петька.

— Не пойду, — крикнул Ванька. — Там волки. Петька больше не отозвался. Через мгновение он оказался рядом, заговорил:

— Улетел уже? А ты знаешь, что я видал? Он за наганом в карман полез — я и убег. А ты чего стоял? Чего рот на него раззявил? Это я побежал, а то он стрельнул бы. Ты видал, как он смотрел на нас?

— Ну, видал. Ну и что?

— Он стрельнул бы... А ты стоишь и стоишь...

Ванька ни слова не сказал. Летчик мог и стрельнуть, мог и не стрельнуть. Может быть, у него не было патронов, расстрелял уже, или берег их на другое: он же летел на Москву.

В Поповке было тихо. Они зашли к деревне с огородами. Ванька без труда узнал дедовскую избу. Она не была видна за самыми густыми и высокими деревьями, скрыта садом. И здесь на задах огорода, в одоньях по старой канаве росли самые разные деревья, когда у других темнели ракички или были пустые прогалы для ветра и метелей.

Ни на зеленях, ни на огородах не было видно скотины. Не слышалось собачьего лая и не доносилось людских голосов. Они полезли по липкой огородной земле. Ванька сбрасывал вперед тяжелые лепехи чернозема. Петька волочился следом, с трудом переставлял ноги и бубнил:

— Завел куда-то. Лучше бы дорогой пошли... Ванька вдруг остановился, сказал, обернувшись:

— Тише! Голосют... Слушай.

Петька приложил ладонь к уху, послушал и сказал:

— Индюки гудуть или голуби воркуют.

— А, ничего ты не слышишь. Глухая тетеря, — сказал Ванька и заспешил к саду.

Перед избой деда Одинара стояла толпа баб, девок и ребятишек. Их караулили немцы с автоматами. Они сразу закричали на вынырнувших из сада ребят, замахали приблизиться. Один из немцев обыскал их и затолкал автоматом к толпе.

Ванька увидел выбитые в дедовской избе окна, парней, стоявших у стены, обвязанных веревками, с разбитыми в кровь лицами, без шапок и в разорванных одеждах и рубахах. Из избы доносился плач. Петька притерся к Ваньке, шепнул:

— Аникановские дружки. Они вчерась у нас палили...

Ванька обернулся, хотел спросить у стоявшей за ним тетки, что случилось, почему дедушкина изба без окон, но получил тычок в затылок и услышал:

— Не юли, пострел. Застрелют.

— А что я, — буркнул Ванька, — и спросить нельзя?

— Поговори ишшо, поговори, — зло шепнула тетка. — Одни наговорились — как миленьких в ров сведут.

Из дедовской избы вышли два немецких офицера и солдат. Один из них дал какую-то команду охранникам. Те оттеснили народ к проулку, связанных вывели на дорогу и по деревне повели на окраину к оврагу, толпу направили следом. Ванька потянул друга за рукав:

— Отставай. Не пойдем туда.

Тут же они получили по пинку под зад — и больше не пытались отставать, покорно поплелись за медленно идущими впереди. Из дедовской избы послышалась громкая голосьба с причитаниями, словно по покойнику.

9

Никита с отцом подошли к речке, где раньше был мост, от которого остались на берегах лишь склоненные к воде сваи. До войны мост и дорога через Поповку были по мельничной плотине. Его и разобрали до прихода немцев, а мельничную запруду открыли.

Новый мост построили гораздо ниже старого переезда, на мелководье, где рядом был брод, через который в сорок первом году и переезжал Ванька Глазунов, когда перед эвакуацией колхозных лошадей вырвался навестить деда Одинара. Мост не поднимался высоко над водой, при малом паводке затапливался. Перед половодьем его разбирали, потом сколачивали снова до будущей весны. Но Поповка после войны не поднялась. С войны вернулись три мужика инвалидами, подростки разъехались по ФЗУ и ремесленным училищам. Инвалиды скоро сдали — мост разбирать стало некому. И однажды его сорвало сильным половодьем вместе со сваями и унесло куда-то вниз по реке. На новый мост тратиться не стали. Трактора «Беларусь», появившиеся тогда, одолевали брод. Зимой с ледоставом наращивали зимник — обходились без моста. А потом не стало Поповки. Старухи частью вымерли, иных развезли по городам и другим селениям, где находились родственники. Земли Поповки перешли заречному колхозу, и та сторона отрубилась навсегда от левобережной. Дорога заросла у берегов ивняком, по лугам — травами, а дальше была распахана, засевалась хлебами.

На месте Поповки росли деревья, начинали зеленеть обитые, обломанные сачочки.

— Узнаешь, где прадедушка-то жил? — спросил Иван Павлович Никиту. — Вон ракирка в грачиных гнездах. Смотри, сколько их! Любил дедушка деревца сажать. Бывало, помню, поздно уже, а он принесет саженец, корни в глину жидкую обмакнет и сажает. Потом водицей, водицей льет — и принималось: корни не обсыхали в глине. Такой был его секрет. Смотри, каким островом могучим поднимаются его деревья. А сколько их порублено, погибло без призора. Вода

холодновата, а то сняли бы портки, махнули бы за реку... А, в другой раз зайдем, посидим на камушках. Яблони как зацветут.

Они постояли на берегу и направились в сторону Аниканова, где был погост и могила деда Одинара.

Дорога шла берегом, промятая давно. Теперь по ней лишь возили с дальнего луга сено аникановские колхозники да изредка наезжали в лес за дровами.

— Люблю такие вот тихие дороги. Они будто в заколдованное царство ведут, — сказал Иван Павлович. — Большаки с войны не по нутру. Там всегда бывали одни неприятности. А тебе нравится такой путь?

— Нет, — ответил Никита. — На большой дороге голоснули бы. А тут топай да топай своими двоими.

— Устал уже. Уморился. Ах, лентяй, лентяй. Деду Одинару под восемьдесят было, а он за день всех внуков обходил. А они у него в шести деревнях были. Да к сестрам своим заглядывал, к братьям — и не уставал. Молодел даже от ходьбы.

— А мой дед какой был? — спросил Никита.

— И твой на ногу легок бывал. В гости соберутся куда, он: «Ну, бабы, вы идите, а я попозже подойду». Приходят, а он за обедом. Они ближний путь выбирали, а он так шагал, что скороходу не угнаться бы за ним. Лишку даст и раньше приходит.

— А он красивый был?

Иван Павлович вдруг остановился, прищурил глаза на Никиту, ответил:

— Да, знаешь ли, а я и не смогу тебе обрисовать, каким он был. Вышло так, что я и не приглядывался к нему, не замечал такие подробности, ни к чему еще было. Тепло знал, ласку знал, строгость на себе испытывал, а на красоту не смотрел его. — Он поднял руку, махнул резко: — Да, был красивый! В кого бы ты таким уродился? Год-другой, по тебе столько девок будет сохнуть!

— Нужны-то они мне, — опять смутился Никита. — Заладил, пап, девки, девки. Не про них я спрашиваю.

— А их в любом разговоре не обойдешь, не объедешь. На то они и созданы, чтобы сна из-за них лишаться, мечтать да говорить. Разговоры, сын, они страдания лишние с души сымают.

— Пап, а... — Никита отвернулся и махнул рукой: — А, да ладно...

— Что ладно? Спрашивай.

Они дошли до бывшей мельничной запруды. Там еще стояли дубовые сваи, внизу под водой оставалась нижняя часть створов, и вода с шумом перебрасывалась вниз. К сваям были прикручены проволокой бревешки, можно было перебраться на поповский берег, но солнце уже начинало тускнеть, подергиваться прохладной пеленой предвечерней дымки.

— Да, не чета мы с тобой дедам нашим, — сказал отец Никите. — Те все обехали бы, а нам не охватить. Разговоры, что ль, мешают? Ну, да одно дело справим... Вон и погост завиднелся. Раньше там церковь была. В войну разбили. Говорили, у немца там наблюдатели сидели и снайперы: вот и ударили по ней как следовало.

Могила деда Одинара обозначал огромный песчаный валун, издали похожий на большую старую жабу. Такой памятник сделал своему деду внук, Иван Глазунов. На верху валуна была круглая, по форме чаши, вмятина, наполненная водой. На покатоности зубилом насеченная надпись: «Одинар».

Внук Одинара снял кепку, правнук уже не носил ничего на голове, закинул назад волосы и вместе с отцом склонил голову у могилы.

— Ах, не вовремя дедушка помер, не своей смертью. Ему еще жить бы да жить. Он крепок был, — заговорил Иван Павлович после минутного молчания. — Аникановские хулиганы решили его. Мы тогда с Петром Сергеевичем пришли, а он уже в ранах был, полуживой. И надо же такой бандитизм устроить! Сундук белым дном выволокли. На тачанку его. Дед Одинар в лес ходил, возвращался домой. Ему соседи сказали про это дело. Он топор из-за пояса, вылетел из проулка, гужи

порубил, телегу с кучером, сундуком своим да их пулеметом — вверх колесами. Грабителей по шеем из сенец да в избу. Один гранату в окно и пульнул. Только дедушка пострадал. Остальных немцы в хлев выпроводили. Мы-то с Петьюшкой попали на их расстрел. Люди пожаловались. Их собрали и выше мельницы в овраге прикончили. Видал я этот позор...

— А они тут схоронены? — спросил Никита.

— Там оставлены. Не позволили их сюда перетаскивать. Хулиганством прельстились, так там и лежи, где кара настигла.

— Они же не в немцев стреляли? — сказал Никита.

— Немцы не за деда их туда отправили, за оружие. Они могли повернуть его и на них... С чего и надо бы им было начинать: по врагам ударить — честь была бы...

— Папк, ты об этом напишешь?

Иван Павлович ухмыльнулся, покачал головой:

— Боюсь, не получится написать. Рассказывается ладно, а когда над тетрадкой сидишь, одни лозунги вылезают из головы. Попробуй, опиши, как мы сходили с тобой сюда, и покажи мне. Посмотрю, как оно получится у тебя. Не зря, сын, называется это знаешь как? Не знаешь. А называется это творческим искусством. Вот как! Тут горбом не вывезешь...

От могилы деда Одинара шли молча. Иван Павлович вспоминал его в летней холщовой рубаше с вышивкой крестиком по вороту, в холстинных штанах, босоногим, подпоясанным шелковым поясом с кистями, которые он, Ванька, любил перебрасывать с ладошки на ладошку. За спиной, на палке через плечо, висел белый узелок. Из него вынимались внукам гостинцы.

Никита снова думал об Ольке. Поглядывая на солнце, он прикидывал, где оно будет, когда они дойдут до Верхней Гнилуши. Отец может передумать заходить к Лобановым. Ему теперь хотелось попасть к ним. Вечером, казалось, не будет совестно. От лампочки можно отвернуть лицо — не увидят смущения в глазах. А то и не входить в дом, остаться на крыльце, куда непременно выскочит Оляка. У перехода через речку Никита толкнул отца и шепнул:

— Пап, посмотри на бревна.

С поповского берега перебиралась между сваями над водопадом старуха. Она была маленькая росточком, одета в черное. Держась за проволоку левой рукой, она крестилась.

— Помочь ей? — спросил Никита.

— Бог поможет, — ответил отец. — Пошли, чтобы она не видела нас.

Никите показалось странным, что отец отказался помочь старушке, спросил:

— А если она не перейдет, сорвется?

Не впервой. Это мать одного из тех аникановских парней. На могиле была. Покажись мы ей, она засмушалась бы, стала расстраиваться. Сердцу матери дороги дети, а поступки их не достойны гордости перед людьми.

Попригнувшись, они свернули на луг и ушли, не замеченные старухой.

Иван Павлович посматривал по сторонам и шел, как казалось Никите, еще легче, с молодым задором, словно на вечеринку. Иногда его лицо играло доброй улыбкой, видимо, что-то вспоминалось ему из его юности. А Никита все думал о той старушке. Неприятно было на душе от ее беспомощного переползания по круглому бревну, словно нарочно пристроенному для перехода, чтобы старухи-матери перестали бы топтать тропинку к своим неверным сынам, к их овражным могилам. Ему представилось, что вдруг и его матери придется так же мучиться, вдруг брат Гришка так же свихнется, к нему ходить...

Он старался отогнать эти мысли, смотрел на темнеющую заставу деревьев Верхней Гнилуши, представлял встречу у Лобановых; но что-то невольно заставляло оборачиваться, что-то искали вдаль глаза, и держало в расстроенном напряжении сознание радости, благополучия и горя.

Никита отстал от отца. Он стал ему непонятным, чужим и жестоким. Стали

вспоминаться отцовские загулы: тогда он бывал добрым, все карманы повывернет, купит сладостей, а не найдет у себя, займет, выпросит у продавца до полочки под список — и так охотно разговаривал даже с самым-самым сопливицом, пока не засыпал. А теперь какой-то гордый, сам в себе. Отец все рассказывал о том случае, но многое проскочило мимо ушей. Когда ешь конфеты и ждешь, что отец еще купит, что услышишь? Да и маленький он еще тогда был. Теперь бы пересказал...

В дом Лобановых Никита не пошел, остался на крыльце. Он издали увидел в раскрытом окне Ольгу, метнувшуюся вдруг от окна в глубь дома, догадался о ее радости и решил испортить ей настроение отказом войти в дом.

Все стояли у окна, торопили:

— Давайте, давайте — заждались. Сколько можно гулять?

— Перепотели, как спешили, — ответил Иван Павлович. — Солнце слишком торопится — мы тут не виноваты.

Они поднялись на крыльцо. Отец отступил, пропуская Никиту:

— Входи, сын. Видал, как нас тут ждут?

— Я не пойду. Тут подожду, — ответил Никита и сел на скамейку. — Иди — недолго только. Там теперь мать ждет.

Отец оглядел Никиту с головы до ног, хмыкнул и ушел в дом, навстречу выходившему другу...

До Никиты донесся радостный, оживленный разговор. Он прислушивался, спросят ли о нем, но долгое время не слышал своего имени. Его кольнуло легкой обидой. Он взглянул на серую предвечернюю дорогу, изрезанную на куски тенями, поддался желанию уйти домой, поднялся со скамейки и шагнул к ступенькам, но на пороге появилась Ольга с тяжелым мокрым ковшом.

— Ой ты, дружок, здравствуй! На, пей, — протянула она Никите ковш с водой. — Сам не можешь зайти напиться?

— А я не просил у тебя, — ответил озадаченный Никита.

— Дядя Ваня сказал, что тебе пить надо.

Никита улыбнулся, вспомнил дорожные подтрунивания отца над ним, догадался об отцовской шутке, не торопясь взял ковш и стал пить воду, глядя на Ольгу.

Он никогда не видел у нее такой голубизны в глазах. Далекой мыслью отметилось: «Как на картинке». На какой картинке ему встретились такие глаза, он не знал, и другого сравнения их красоты ни с чем не нашел.

— Чего-то уставился-то? Пей. Мне некогда, — сказала Ольга, вспыхнув румянцем и потупив взгляд.

Она тоже глядела в глаза Никите, была заворожена ими и не сразу догадалась, что он смотрит на нее, пересмотрел. От его взгляда ей стало жарко. Она перекинулась через перила крыльца, взглянула по сторонам и сказала:

Ленка Королиха обещалась прийти, а не идет. — Обернувшись, сказала: — Напились — давай ковш? Или сам носи в дом.

— Держи ты. Я не понесу, — ответил Никита.

— А чего не пил-то? — спросила Ольга.

— Я и не хотел.

— А дядя Ваня — попопнее черпай, целый. Я ему сейчас за шиворот вылью...

Никита слышал вскрик отца, смех Ольги, перебивчивый разговор, шутки. Отец говорил:

— Не воды, говорил, хочет, а поесть чего-нибудь. Поесть пожалел. Ну, ладно, ладно, сношка.

Никита стоял на крыльце, смотрел на луг, по которому они шли, видел наползавшую тень на дорогу от восточного склона, и предавался глубокой грусти. Он уже давно заметил за собой склонность грустить, когда другие радуются. Ему казалось, что все вокруг радуются нарочно, без причины, находил в памяти печальные события и терзался ими до слез. Сейчас перед ним снова возникла

старушка, перебивавшаяся по бревну, — и он готов был идти к переправе, взять ее на руки и перенести по опасному переходу.

На плечо Никите легла рука Петра Сергеевича.

— Никита, как это понимать — мы за стол, а ты любишься закатом? Пошли, дорогой. Отужинаем и любуйтесь.

— Я не хочу ужинать, — ответил Никита.

— А что, нездоровится? — спросил Петр Сергеевич.

— Все нормально, дядя Петя. Так, не хочется

— Так у нас не признается. — Петр Сергеевич обнял Никиту и провел в дом.

Отец уже вел разговор, рассказывал о кладбище, о памятнике деду Одинару.

Вот и сына водил прадеда помянуть, чтобы не росли Иванами, не помнящими родства. Посмотрел, там уже много могил забытых. А люди жили, ради нас жили. Пахали, сеяли, жали, кормили нас и памяти по себе не заработали... Вы, ребята, как, будете нас помнить? — спросил он вдруг.

— Если помрете, будем, — ответила Ольга и лукаво посмотрела на Никиту.

— Мать замахнулась на Ольгу ложкой.

— Поговори у меня, язва! Смерти родительской ждет.

— Так вы же спрашиваете. Как я должна отвечать?

— В школе учишься, пора самой знать ответы, а не спрашивать.

— А нас там этому не учат.

— Книжки читаешь, телевизор смотришь — сама должна соображать.

— Ладно, Алексеевна. Тут такой каверзный вопрос был. Как в анекдоте про солдата. «Солдат, девок любишь?» — «Люблю!» — «А они тебя любят?» — «И я их».

Все рассмеялись. Никиту анекдот не рассмешил. Это заметил Петр Сергеевич, спросил:

— Никита, как дела в школе? Говорят, ты там не угодил кому-то?

— Директору. Тот его в ПТУ записал, а он отказался, — ответила Ольга.

Петр Сергеевич строго посмотрел на дочь, сказал:

— Когда с тобой будут разговаривать, тогда отвечай. Тем более, мой разговор с гостем.

— Подумаешь, гость! — отозвалась Ольга. — Как будто не в одной школе учишься?

— В одной, но, видимо, по-разному... Так что там, Никита? Извини, что отвлекся.

— Она же сказала, — Никита кивнул на Ольгу. — Все так.

— А почему не в ПТУ? Сейчас это и не так плохо. Там и среднее образование, и профессия.

— Пахать я и так умею. А почему, сам еще не знаю. Захотелось десять классов закончить... Само как-то получилось.

— Все ясно, — ответил Петр Сергеевич. — Слово отца?

— Я не вел разговоров, не вел, — перехватив вопросительный взгляд друга, сказал Иван Павлович. — У них своя голова на плечах.

— Но писал же?

— Все пишут, а кто не пишет, тот дурак. Надо писать и писать, а то на память вникам ничего не останется. Ты вот тоже повспоминал бы кое-что из нашей жизни.

— Много напишем — читать некому будет, — ответил Петр Сергеевич. — И не получится у меня это. Пиши ты, а я буду тебе подсказывать, что упустился. Читать-то когда будем?

— Читать? Прежде написать надо. Сразу это не делается. Да покажу сперва знающему человеку, что он скажет.

— Не забудь про гусака написать, — подсказал Петр Сергеевич.

— К этому дело еще не дошло.

— Долго что-то? Ты как настоящий писатель. Когда говорил, что про

чесоточную королеву написал, а до гусака не дошел. Наверное, природу расписываешь?

— Все там будет. Я вот жалею, что письма деревенские не берет. Помнишь, с каким интересом мы их с тобой читали? Что мои, что твои, как одному были...

Разговор тянулся весь ужин. Никита взглянул на часы, показал отцу на циферблат. Ольга заспешила в клуб.

— Никит, пойдем с нами? — предложила она. — Сейчас Королева зайдет за нами.

— Не могу, — ответил Никита. — Я не один.

— Оставайся, — сказал ему отец. — Я не маленький — дойду.

— В другой раз, — ответил Никита. — Мне еще по урокам кое-что сделать надо.

— Слышишь, Ольга? — спросил Петр Сергеевич. — Так надо учиться. А вы все по клубам.

— Когда нам надо будет экзамены сдавать, тогда и мы сядем за уроки, — ответила Ольга, задержавшись у двери. — Ну я пошла. До свидания.

Т— анцуй, красиво только, — сказал Иван Павлович. — Я отпускаю Никиту, но он что-то против. Верно, на самом деле дела не пускают. И мы сейчас пойдем, а то мать теперь ждет.

Осталась позади Верхняя Гнилуша. Никита несколько раз обернулся на яркие деревенские огни, вздыхал.

— Какой-то ты, Никитка, не в нашу породу, — заговорил отец. — В клуб не пошел, а теперь вздыхаешь. Думаешь, мне от этого легче? Что, действительно с уроками завал?

— Не совсем, — ответил Никита. — Чего мне в их клубе делать?

— А вообще-то, да. Еще успеешь нагуляться. Это ты ростом длинноват, а годы-то юные. Но все равно ты задумчив слишком. Может быть, жалеешь, что отказался пойти в ПТУ? Так не поздно. Или боишься не сдать экзамены?

— Да нет, пап. Ничего я не боюсь и не жалею. Вечер кругом, вот и не хочется разговаривать.

— Ну, мы не каждый вечер с тобой прогуливаемся, можно в кои годы раз и поговорить. Оно и молчать хорошо и поговорить удобно: никто не мешает... Стало быть, пчел мы с тобой заводим? Видишь, дядя Петя сразу дает три роя. Это для начала уже что-то значит. Видал, он еще и кроликов держит. Я не стал сразу вторую удочку забрасывать, а надо бы и нам обзавестись этой скотинкой.

— Разбогатеет, что потом раскулачат, — сказал Никита.

— Теперь такого не будет. Только лодырям ссылаться на раскулачивание. Мы к этой категории не подходим.

— Тогда разведем и кроликов, — заверил Никита. — Я в школе возьму. Там есть школьные, и у ребят можно спросить.

11

Вернувшись из школы, Никита не стал обедать, перехватил на ходу, вывел мопед, кинул через плечо сумку с инструментом и покатил к Верхней Гнилуше. От Верхней Гнилуши он катил вдвоем с Ольгой к Поповке дорогой, по которой шел с отцом на дедовскую могилу.

— А чего ты, Никита, мотоцикл не купишь? — крикнула Ольга. — Охота на такой тарактелке таскаться?

— На что я куплю мотоцикл? — спросил Никита.

— На деньги. У матери нет, что ль, на книжке?

— Может, есть — не знаю. Свои заработаю, тогда и куплю, — ответил Никита.

— Не дожидаться, когда прокатишь как следует, с ветерком.

— Тише едешь — дальше будешь.

— Ты, Никита, отстаешь от жизни. Так все прозеваешь.

— А мне всего и не надо. Хорошего понемножку. Никита остановил мопед у перехода через речку, после прихода сюда с отцом, не дававшего ему покоя.

— Готово дело — приехали, — объявил он. — Ты отдыхай, а я сбегаю вон в те осинки. Жди.

— Не долго только.

— Как управлюсь.

Никита переправился по бревну на поповский берег и скоро, скрывшись в зарослях кустов и прошлогоднего, отжившего бурьяна, выйдя к прадедовскому поместью, принялся рубить стройные осинки. Ольга, примостясь на свае, стала смотреть на воду.

— «И чего он подался куда-то? — подумала она. — Посидели бы — водопад такой красивый. Чего-то плотничать собрался? Чудак».

Вода шумела, бурлила, пузырилась. Ольга засмотрелась на нее и не видела, когда Никита притащил несколько осиновых жердей. До вечера он мастерил переход — и сделал его на славу. Ольга, скучая, помогала Никите, когда требовалось поддержать жердь или что-нибудь поднести с берега.

— Чего ты чужим строишь? — удивлялась она. — Тут, кроме аникановских, никто и не ходит. И из вашей Засеки только чудом кто попадет.

— Я тебе потом расскажу, кому я сделал переход. Сейчас домой покатим.

Никита был доволен своей работой. Перед отъездом он с отдаления осмотрел переход, подумал, что можно было бы сделать еще лучше, но что с Ольгой смастеришь? Она и по широкому настилу с визгом над водой проходит, дрожит, что свалится в речку. Ребят звал, но никто не поехал — лентяи все.

На лугу мопед вдруг заглох. Сначала он почихал, потом встал, словно конь строптивый.

— Кажется, приехали, — сказал Никита. — Хорошенькое дело — на себе тащить дурака.

Никита попробовал завести мотор снова, но он был неподатлив. Причину обнаружить не составило труда — кончился бензин.

— Эх ты, извозчик! — упрекнула Ольга. — Запевай теперь «А мы с тобой плетемся по асфальтовой. Ты да я качаем оба головой».

— А ладно, пройдемся пешочком, — сказал Никита. — Избаловались на колесах. Наши отцы полмира исходили на своих двоих.

— Я не согласна зазря живешь топтать. Ты меня завез сюда — ты и вези. — Ольга придержала мопед и села на сиденье. — Трогай, чего смотришь? Не ахти я какая тяжелая.

— Ну ты и даешь, девка! — удивился Никита и покатил мопед.

— Над ними прокричал чибис. Откуда-то сразу появился второй, а через несколько шагов их была уже стая, носившаяся с надоедливой «чи вы» над лугом.

— Никита, ты чей? — спросила Ольга.

— Ты держись, а то свалишься вместе с мопедом. Сиди ровнее — легче везти будет, — сказал Никита.

— Чего они так раскричались?

— Гнезда у них тут.

— А ты находил когда-нибудь их гнездо?

— Не искал, — бросил Никита. Он уже вспотел, и ему было не до разговоров.

— Никита, а почему ты Леночку Королеву не любишь? — не унималась Ольга.

— Не люблю, и все. Что ты ко мне пристаешь? Тебе помолчать не о чем?

— А о чем можно молчать?

— О всем.

— Ну, тогда ладно. Вези. — Ольга умолкла, но не надолго, тихо проговорила: — Бит небитого везет. Бит небитого везет.

— Что ты сказала — не слышал? — спросил Никита.

— Туман впереди нас. Холодная ночь будет, — ответила Ольга.

— Замерзла? Провези мопед — согреешься.

— Ой, нет-нет. Мне жарко.

— Чибисы отстали, и стало тихо. Жаворонки уже опустились на землю, не пели. Луг покрыла тень.

— Бит небитого везет. Бит небитого везет, — расслышал Никита беззаботный напев Ольги.

— Он резко качнул мопед, и певунья слетела с сиденья.

— Никитка, да ты что? — спросила как ни в чем не бывало Ольга. — Я так могла ногу или руку сломать.

— А я так и хотел, чтобы и ты бита была, — ответил Никита.

— Обиделся? Да это же в сказке так. Вспомнилось и привязалось на язык... Ладно, больше не буду.

— И я не буду. Иди рядом, веселее будет...

12

Быстро прошел май. Так показалось Никите. Но его одноклассники торопили дни, с нетерпением ждали окончания учебы, экзаменов, чтобы разделаться со школой и до ПТУ не знать никаких забот.

Прозвенел последний звонок. Началось лето. Младшеклассники расстались со школой до сентября. Восьмому классу предстояло еще не раз переступить порог школы, сдать экзамены.

Те, кто уходил в ПТУ, роптали, что зря только отнимают у них время, выставили бы оценки: все равно на пятерки они трудиться не будут, ни к чему, а в рабочий класс годятся и троечки.

Никита переживал, боялся за низкие оценки. Он сразу переписал экзаменационное расписание, определил, что надо еще «подзубрить». Он считал себя слабоватым в русском языке и литературе. Знал он все, даже за десятый класс, но не по учебникам, не по прочтенным книгам, а по кинофильмам: смотрел все подряд. А как писать сочинение, какие слова придумывать о героях, создал всегда смутно. Сочинил писатель роман, все хорошо, так зачем-то заставляют еще что-то придумывать? Лучше все равно ничего не придумаешь. Рассказать бы просто, почему понравился роман или не понравился. А то план выдумывай и городи чепуху. Заставляли бы самому что-нибудь сочинять.

Раньше, как помнил Никита, были дополнительные занятия, консультации перед экзаменами, а теперь об этом ничего не говорилось. Видно, учителя решили или сам директор, что и так без консультаций все отчитаются, сдадут, никто на второй год не останется. Никита хотел пойти к директору, спросить, почему так получается, но передумал, решил съездить в свободные дни к тетке в город, преподававшей литературу в ПТУ, подготовиться к экзамену с ее помощью.

Из школы все вылетели, словно отроившиеся пчелы из улья. Пока Никита мешкал, списывал расписание экзаменов, школа опустела. На улице его никто не дождал. Обычно он полпути шел с девчонками из Верхней Гнилуши, но теперь и они не стали его ждать, скрылись из виду. Ему показалось странным, что они быстро проскочили три километра до поворота. Он принялся рассматривать дорогу — следов их не обнаружил. Решил, что они зашли в магазин или же сели на попутную машину. Но и одному было идти весело, казалось просторнее в округе, больше слышалось голосов птиц; ветерок, пробегавший по волнистым хлебам, шептал что-то тайное, сокровенное, что можно доверять только большим и верным друзьям; а справа грело солнце, и высоко в голубом небе паслись белые облака.

От поворота на Верхнюю Гнилушу Никита свернул на тропинку и пошел через клеверное поле к своей Засеке. И как-то неожиданно-негаданно стали складываться стихи.

Шел из школы я домой, Меня солнце провожало. Как девчонка, оно рядом По траве густой шагало...

Никиту обожгло таким складом слов, что стало жарко. Он расстегнул ворот рубахи, помахал рукой,

словно веером, сорвал головку кашки, закусил и стал придумывать продолжение стиха:

Я с тропинки отступил. Улыбнулось солнце мило. Как влюбленная девчонка, Ничего не говорило.

Никита от радости потер руки, пригладил волосы. Солнце вдруг скрылось за облаком, сразу похолодал ветерок, подул сильнее, зашумел по клеверу, потемнело, и потускнели цветы кашки. А вокруг светились солнцем дали, и тень облака вызывала в душе грусть. Но скоро она полетела по травам на дальние поля, и снова стало солнечно вокруг и радостно.

Я решил заговорить И сказал: «Какой денечек!» Тучкой солнце занавесило, И мне стало грустно очень

Никита пытался присочинить еще что-то, искал слова, смысл строк, но дальше ничего не выходило. Он повторил сочиненное и зашагал быстро к дому, довольный удачей.

13

После первого экзамена по алгебре, сданного Никитой, как сказала учительница, вроде нормально, он, придя домой, застал в своем саду много гостей. Здесь были отец Ольги, Сидоров из газеты и еще кто-то, кого Никита увидел впервые.

Стол был накрыт по-праздничному. За вишнями дымила плита: там хлопотала мать. У стола стоял самовар. Отец сидел на корточках, подкладывая в самовар дрова. Никита остался незамеченным из-за вишенника. Подойти постеснялся. Разговор шел о молодежи.

— Теперь другой случай, — говорил Петр Сергеевич. — У нас живет бабушка. Крепенькая еще. На людях, правда, стонет. Но дом, хозяйство держит исправно. Вместо коровы коз водит, овцы, птица все имеется. Внука в прошлом году приняла на жизнь — со службы вернулся. Посадила на самую грязную работу — навоз от коровников вывозить. Парень оказался непьющим. Работает исправно. До него был Нефед: день катается — два пьет. А этот ангел — и никаких иных определений. Чист, опрятен. Никаких нареканий по работе. А навоз теперь — золото. Только привези — угощение обязательно будет дюжее. Он — нет. Прицеп — гони восемь рублей. И только деньгами, наличными. В сенокос сено подвозил, потом солому, дрова. Золотой был человек, безотказный. Через год справил свадьбу на свои заработанные. Генеральским детям такие свадьбы не играют. Женился, уехал в город. Теперь приезжает к теще и бабушку навещает. И представьте себе: в милицейской форме, в ГАИ служит. Бабушка честным-честной себя выставляет и внуком не нагордится... А наш брат, кто по войне в детстве прошел, спрашивает, дивясь: откуда у них такое хапужество проявилось?

Посыпались разные ответы, вперебой. Никита устыдился подслушиванием, ушел к дому. У них в колхозе тоже навозом торговали, но теперь надо выписать в правлении, уплатить за привоз, сколько положено, там же, в колхозную бухгалтерию, — и делу конец, кончилась халтура. Все так просто делается, когда голова варит.

Никита сел на скамейку у стены под окнами и при мысли «о головном вареве» вдруг вспомнил о сочиненном в дороге стихотворении, решил повторить его и потом, при случае, рассказать гостям и родителям, послушать, что они скажут на

это, особенно корреспондент Сидоров, наставник отца.

Из школы я шел домой... Домой я шел из школы...

Выходило так нескладно, что ни капли не было похоже на ладный стих, когда он наговаривал его себе в дороге. А другие строчки, продолжение, вовсе вылетели из памяти, как будто оброненная вещь, осталась где-то там, по пути к дому, лежит в траве. Так бывает во сне: что-то снится всю ночь, даже надоест, а проснешься — и не вспомнить, что плелось. Знаешь, что целая история совершилась, словно наяву, а о чем, с кем, в какой последовательности — не рассказать, хотя хочется до страдания поведать о сне кому-нибудь.

Никита подумал, что надо сесть на мопед, доехать до того места, откуда стало сочиняться, — там, наверное, сразу все вспомнится. Но из-за угла появился отец, остановился в удивлении неожиданной встречей, спросил:

— Никитка! Пришел?

— Вернулся, — ответил Никита.

— Вернулся и рассиживаешься. А ну, дров охапку к плите! У нас гостей полный сад! Помогай скорее справляться... С экзаменом как? — спросил отец словно о чем-то маловажном.

— Сказали, все в порядке, — ответил Никита.

— Ну, расскажешь там за столом. Работай. Никита направился в сарай, а отец полез за чем-то

в погреб, где они под весну с ним сделали ледник и там еще стояли соления, присыпанные опилками кадушки, снизу охлаждаемые льдом.

С охапкой дров Никита прошел за вишнями в конец сада, к летней плите. Мать тоже обрадовалась его возвращению и спросила нарперво:

— Ну, как там у тебя в школе, сынок?

Она выпрямилась, оставила без внимания все жарения, варево, с тревогой ждала ответ.

— Там отлично, — обрадовал Никита мать.

— Ну слава богу! — вздохнула она с облегчением. — Я все из головы не выпускала, боялась, как бы ты не запнулся на чем.

— Чего бояться? Школа меня не пугает нисколько. Если нарочно не завалят...

— Этого-то и бойшся. И учителя по-разному себя вести могут.

— Учителя меня любят, — окончательно успокоил Никита мать.

Гости приветливо встретили Никиту.

— А вот и молодой хозяин появился, — встав и подав руку Никите, с явной радостью сказал Петр Сергеевич.

— Вытянулся как парень за весну, — заметил Сидоров.

— На вольных хлебах чего не расти? — с гордостью сказал отец. — С первого экзамена вернулся.

— На отлично сдал, — сообщила подошедшая к столу мать.

— Н-ну! — хором протянули гости.

— Молодец!

— Так и должно быть!

— Он в каком? — спросил незнакомец.

— Восьмой... — успел произнести отец.

— В девятый пойдет, — перебила настоятельно мать. Восьмого для нее было мало. И уже с девятым как будто было решено окончательно и бесповоротно.

— И куда потом, после десятого? — спросил незнакомый Никите.

— Женится и за меня на трактор. А я в сторожа, на пенсию, — ответил отец без удовольствия, что уже о сыне можно говорить и так, что уже он вырос и будто дело было давно порешено.

— Не мели, Емеля, — отвергла решение отца мать. С таких лет о женитьбе не думают.

— Теперь не разберешь, с каких думают, — сказал Петр Сергеевич. —

Смотришь — сопляки, до службы в армии женятся, а потом боком, мимо и на сторону. У нас уже третий случай такой был.

— Такие вот папаша, — кивнула мать на отца, резавшего в соленые огурцы молодой лук, — как этот, внушают им о женитьбе, забивают голову детишкам не чем следует.

— Он пошутил, — заступился Сидоров. — Правда, Никита, отец пошутил?

— Я привык к его шуткам, — ответил Никита. — Я учиться буду сначала. Может быть, в институт какой-нибудь пойду.

— В журналисты не ходи, — посоветовал Сидоров.

— Не отбивай у него кусок хлеба, — сказал незнакомец, с каким-то вниманием ворожеи приглядывавшийся к Никите, к отцу и матери.

— Иди, Никита, по охотоведству, — сказал Петр Сергеевич. — Охоту, зверя ты любишь.

Пошли разные советы. Назывались институты, должности на земле, выгоды от них. Никита слушал вполуха. Начался обед. Разговор за столом пошел о другом. С Никитой было решено, что он поступает в институт и подается на работу по сельскому хозяйству, а кем — еще решится, впереди время есть об этом подумать.

В саду в тени под яблоней были разостланы покрывала, все отдыхали. Отец Никиты читал свои воспоминания. Никита, пока ходил в погреб за квасом, прослушал зачин чтения, но догадался, что читает отец не по первой тетради. И было непонятно, читал он или рассказывал по памяти. Петр Сергеевич не выдерживал, дополнял отцовский рассказ.

— Надо указать, когда это было, — говорил Петр Сергеевич. — У тебя не понять, зимой или летом дело происходило.

— Дальше будет видно, — бросил отец и продолжал: — «Наше ФЗУ шефствовало над детским домом из эвакуированных. Однажды нас с Петькой послал мастак помочь там ссыпать в подвал картошку...»

— Верно, — подтвердил Петр Сергеевич. — Не соврал.

— «...И нам помогали детдомовские девчонки. Одна из них, из младших, плакала. Сперва незаметно, а потом чуть не с ревом.

— Чего-то она ревет? — спросили мы у другой, повзрослее.

Она осмотрелась, подняла плечи, сжалась и ответила:

— А они все чего-то плачут. Не знаю. У Петьки был пакетик сахарину в кармане. Он отозвал ревуню за куст, дал ей этот порошок и попытал: о чем она плачет? Я только догадался, что он так поступил, но не видал глазами и не слышал его слов. Он пришел потом ко мне и сказал:

— Глазун, — тогда меня там так прозвали, от фамилии моей, на что я и не обижался, — ты послушай. У них тут графиня Иванова объявилась. От нее они и ревут.

— Настоящая графиня? — спросил я у Петьки.

— Самая настоящая. Как помещица Салтычиха, — заверил Петька.

— Иди ты!

— Честное слово!

— Она директором у них? — допытывался я.

— Старостой группы. Понимаешь, она самая большая у них. Годы отжухала, считается им ровесницей, вот и командует ими как хочет. Она у них пайки отбирает. Не у всех сразу, а по очереди. И не все, а самое вкусное. Кому очередь подкармливать ее, тот и всю ночь пятки ей чешет, а заснет — ногой по морде получает».

— По лицу, — поправил Сидоров.

— Лицо у графини Ивановой было, а у слуг ее — морды, — уточнил сочинитель.

Петр Сергеевич поддержал друга, как верный и единственный свидетель очевидного той давней военной поры:

— Только морды. По-интеллигентному тогда не разговаривали.

— Читать дальше? — спросил автор.

— Да, да! Извини, Иван Палыч, — встрепенулся Сидоров. — Это несущественно, так называемые блошки. Их не составит труда выловить редактору.

— Про блошек, про вошек у меня тоже написано. Их тогда уйма было! И жалко будет, если какой-то редактор их вычеркнет, — сказал Иван Павлович.

— Да не о тех блошках-вошках речь, дорогой! — Сидоров повернулся со спины на бок, подставил под голову руку. — Блошки — это мелкие ошибки, неточности. Читай. Мы там на морде остановились.

— Ну, так вот. Ногой, стало быть, по морде. «А то возьмет за грудочку и спиной об стенку. Они даже рассказывать про нее боятся. Пристращала она всех, эта графиня. Малолетка мясо ей от обеда отдала, а вечером сладкое с нее возьмется — и пятки чесать после этого.

— Петька, да ты что! Да надо сразу об этом сказать, заявить куда следует! — возмутился я до глубины души.

— Нельзя, — сказал Петька. — Она увидала, когда я разговаривал с малолеткой, и показала ей кулак.

— Так это та самая, что ничего не делает? спросил я.

— Она корзинки считает.

— Ну дылда. Да она же нам ровесница. Как люди не понимают, что она переросток, годочки отжухала... Нет, Петька, такое дело не годится. Графиня Иванова. — У меня зашевелилось что-то в мозгу. Что-то я уже придумал, только не мог сказать сразу об этом дружку...»

— Да, — перебил Петр Сергеевич с желанием рассказать дальше историю падения графини Ивановой, — было потехи. Варила у тебя, Глазунов, голова. Ничего не скажешь — варила.

— Избавили вы все же малолеток от нее? — спросил третий гость.

— Благодаря Глазуну, — кивнул Петр Сергеевич на друга. — Послушаем, как он изобразил этот подвиг.

Никита сидел на траве, положив на колени подбородок, внимательно слушал и пытался представить отца в своем возрасте. Ему казалось, что отец всегда был таким же, каким он его помнил и видит теперь: взрослым и серьезным. Но иногда они с Петром Сергеевичем представлялись ему мальчишками. Вот и теперь, когда отец продолжал чтение о том, как за работу им дали вареной картошки и по пайке хлеба и они, счастливые и богатые, направились к училищу, Петька на радостях сорвал одним захватом репьев, запустил в друга, сразу же отцепившего с гимнастерки репы, добавившего еще, но не бросившего в Петьку. Отец, Ванька Глазунов, ожил перед Никитой в мальчишеском образе.

«— Петька, идея! — крикнул я. — Рви репы. Много надо... Для графини Ивановой. — Мне вспомнилось, что бывает от репьев. Мы нарвали по большому, с футбольный мяч, шару, в общежитии на бумагу нашелушили из них зерен, потом от зерен отделили мелкие иголочки, завернули их в пакетик и стали гадать, как обсыпать этими иголочками графиню Иванову. Ее верные рабы ни за что не взяли бы за такое дело. И Петька придумал. Его план мне понравился, и мы направились к мастаку».

— Блошка, — заметил Сидоров. — К мастеру.

— У нас его за глаза все называли мастаком.

— За глаза называйте как вам угодно. А автор не должен уподобляться своим героям, — пояснил Сидоров.

— Так мы с Петькой и герои. Я же о себе пишу.

— Ладно. Об этом потом поговорим. Тут на этот счет имеется своя теория. Уже вижу, что эту главку следует дать в газете. Читай, а то нам и в дорогу время. — Сидоров взглянул на часы.

— «А план Петька составил простой. Была осень, когда уже утепляются на

зиму. Мы сказали, что нас просили в детдоме закрыть окна и помочь вставить вторые рамы в младшей группе. Мастак, то есть мастер, отпустил нас, но в выходной день.

В субботу мы намылись до блеска (учились мы, известно, на кого...).

— Здесь придется указать, на кого, — сказал Сидоров.

— Это трудов не составляет, — ответил автор и добавил, словно читал готовый текст: — Учились мы в ФЗУ на токарей-электродчиков. Уже ходили на практику, обтачивали угольные электроды, нарезали с одного конца резьбу, во втором сверлили дырки и тоже делали резьбу, внутри. Черные были как чертики. Плевались и сморкались черными комками. Друг друга после работы не узнавали.

— Так и надо вписать. Можно поподробнее. Мы это дадим до начала учебного года. Пусть молодежь сравнивает, как было тогда и как теперь в ПТУ, где тебе и среднее образование, и все, что хочешь, — сказал Сидоров.

— «В субботу мы намылись до блеска, а в воскресенье после завтрака наострили носы на детдом, с Петькой. Дорогой условились, что говорить там, где нас никто не просил, не звал. Пришли.

— Куда? К кому? Зачем? — Дядька сторожил детдом, одноногий.

— Рамы утеплять в младшей группе мастер послал.

— Поймал он мальчугана, велел проводить. В комнате все писали письма родным, у кого были. И графиня Иванова на месте. Она лежала на койке, а рядом девочка сидела, надувшаяся.

— Здорово! Здорово! — сказали мы с Петькой.

— Приветик! — ответила графиня. Малолетки тоже ответили, кто даже два-три раза:

— Здравствуйте.

— Я сразу увидел, что рамы у них уже утеплены и оклеены.

— Чего явились? — спросила графиня.

— А нас мастак, то есть мастер, послал утеплять вам рамы».

— Тут оставить «мастака», — поправил Сидоров.

— По вашему брату не угодишь, — ответил автор. — «Графиня подозрительно оглядела нас, толкнула ногой прислугу, приказала:

— Ну-ка ты, мокрица, схиляй до коменданта... хотя сама дойду. У меня к нему особый разговор имеется».

— Колоритная девица была, — заметил Сидоров.

— И крупногабаритная, — дополнил Петр Сергеевич.

— «Ну, — думаю, — нам повезло. Она ушла. Я незаметно сыпанул ей под одеяло репейные иголки. И сразу облегчение почувал. Она вернулась, сказала:

— Похиляем к нему.

Командант был моложе сторожа, на обеих ногах, только без левой руки. Он спросил, кто нас прислал, кто просил его присылать; сказал, что мастер наш что-то напутал; спросил, не провинились ли мы, что он нас прислал в выходной. Мы думали, что сразу и уйдем. Но он встал и сказал:

— Ладно, мастера, коль уж вас направили, то у меня есть вам работенка. Вчера ваши ребята дрова напилили, а сложить под навес не успели. Там не много — к обеду справитесь.

— Петька свистнул от неожиданности, а я толкнул его кулаком в бок, пригрозил, что будет ему за его «великолепный план».

Дрова складывать мы оставили тем, кто их пилил. Дураков не было. Как говорится: любишь кататься, люби саночки возить. Драпанули мы с Петькой из детдома. Сами бы и сложили, детдомовцы. Их там, как муравьев, набито.

О графине Ивановой мы потом разведали: на другой день она стала чесаться вся, покрылась красными пятнышками, и ее в изолятор, как чесоточную, упекли. Все стали ее потом дразнить чесоточной, смеяться над ней. А когда ее не было, малолетки все рассказали про нее воспитательнице, — и ее перевели от них к

старшим».

— Вот и все, — заключил Иван Павлович, окинув взглядом слушателей.

Все ожили, сменили позы. Только Никита не мог двинуться. Он унесся в тот мир, в то время. Ему почему-то стало жалко графиню Иванову. Отец с дядей Петей поступили с ней не по-честному. Можно было ей сказать, убедить ее, что девчонки так не должны поступать...

— Да, жестокие были времена, — вздохнул Сидоров. — Вот, Кирилл Артемьевич, где психология-то была. А ничего у вашей науки от того времени не осталось.

— Почему же не осталось. И тогда защищались диссертации, сочинялись ученые труды. А вся художественная литература, журналистика, архивные справки разве не клад для нашей науки или не сама наука? Все это следует лишь обработать, суммировать. Вот и то, что мы только прослушали, не материал ли для исследований?

— А как тебе прочитанное пришлось? — спросил Сидоров.

— О прочитанном одно скажу: бесхитростно написано, а...

— А мы хитрить не умеем, — перебил хозяин. — Что было, то и было. Я теперь кино смотреть почти бросил, из-за ихней хитрости. Уж сильно они там хитрят. Ни дураков у них нет, ни бедных. Сказка, и только-то, а настоящей нашей жизни нет.

— Вы мне не дали договорить. Написано бесхитростно, а волнует, даже более того, поражает реальностью, слышится живой пульс. Надо писать, писать и писать... Тут вот что главным будет — не как написано, а о чем. Теперь все больше встречаешь мастеров слова, вернее, грамматики. Человек умеет писать, но ему не о чем писать. Тут, главное, есть о чем. Для меня это ценно. Я представил, как эти юные варвары были поглощены своей идеей свержения с высоты положения идола графини Ивановой, — и сделали это с таким тонким психологизмом.

— Слушай, Иван Павлович, этого человека. Я утаил при знакомстве, что Кирилл Артемьевич по профессии врач-психиатр.

— Ну, слушай, товарищ Сидоров, дорогой, — взмолился врач, разведя руки, — я же просил тебя...

— Не волнуйся. Ты убедился, что тут все здоровые люди, надоедать тебе не станут.

— Все ли здоровы? — из-за спины Никиты спросила мать. — Это хорошо, что вы сказали. Я все собираюсь в больницу, а не вырваться...

— Кирилл Артемьевич улыбался. Сидоров оглядывался, словно что-то искал. Так оглядываются, когда неожиданно с пустыми руками встречают зайца. Охотничий пыл охватывает человека, а руки безоружны.

— Ладно, мать, с пустяками приставать к людям, — сказал отец. — Тут о деле разговор. От болезней самим надо лечиться.

— Это только ты у нас сам себе доктор, — возразила мать, так и не сказав, какая болезнь ее беспокоила. Никита слышал иногда жалобы матери на головные боли, отчего она лечилась редечным соком.

— Так на что вы, Мария Григорьевна, жалуетесь? — спросил врач.

— Нет-нет. Простите дуру. Я здорова.

— То-то же, — сказал отец. — Организуй нам еще закусточку. А ты, Никита, подбодри самовар.

Разговор сбился. Сидоров поднялся, подошел к висевшему на сучке вишни пиджаку, взял записную книжку, шариковую, многоцветную ручку и что-то записал.

Врач пошел по саду, рассматривал яблони с зеленой и коричневатой завязью.

Петр Сергеевич подсел на корточки к самовару, заговорил с Никитой:

— Скоро, дорогой, я тебе сделаю подарок. Готовь улья. Два роя тебе готовлю. Сильные. К осени свой мед будет к чаю.

— Улья готовы, — ответил Никита.

— И хорошо. Одним пчеловодом станет больше, — одобрил Петр Сергеевич. — Жаль, что твой батька потерял много времени впустую, в бутылочку вогнал, а то давно уже вы были бы с медком. Я завидовал бабушке, какая у нее пасека была... Но не будем опускать руки — разведешь и ты. Дело это интересное. Пчеловодством занимались даже большие ученые. Я дам тебе почитать «Календарь пчеловода», там и узнаешь об этом... Ну, а как ты отнесся к отцовским сочинениям? Ты, поди, все читал?

— Нет. Только вот это слушал. Он не разрешает.

— Поди же ты, какой гений! Но пусть его гордится. Не все, верно, а что-нибудь удастся и самим почитать в газете. Да и он нам еще почитает, когда соберемся.

Опять дымил самовар. Мать была у плиты. Врач подошел к ней и разговаривал с ней, что-то советовал. Отец опять ходил в погреб за угощениями. И опять велись интересные разговоры о прошлой и теперешней деревенской жизни, но Никита за столом не сидел, занимался своими делами, готовился к новому экзамену...

Лето шло своим размеренным чередом. Никита пережил экзамены и перешел в девятый класс. Он оказался одним в поле воином. Те, кто вместе с ним соглашался заканчивать среднюю школу, не устояли. Одного родители отказались учить дальше, неизвестно для чего и для какого дела: все определяются в работе, а потом, кому хочется, учатся, где им вздумается; второй не захотел отступать от друзей; третьего уговорили не подводить школу, коллектив класса. Никите тоже не хотелось отставать от своих одноклассников, но он не стал из принципа менять выбор, данное слово. А по дому у него появились обязанности — завел пчел.

Сразу после получения свидетельства об окончании восьмого класса Никита стал работать на тракторе с отцом, начал с сенокоса. Отец перед сенокосом поставил трактор на ремонт. И пока не было горячки, привел в порядок все узлы, отладил двигатель. Раньше он работал, как и теперь другие, без лишней возни. Пахалось — пахал, сеялось — сеял, косилось — косил, пока трактор не останавливался в борозде или на лугу с косилкой, не разваливался и требовал безотлагательного и серьезного ремонта, а при невозможности отремонтировать — списания в металлолом, замены на новый.

— Богатые стали, — говорил отец. — Каждый старается сезон отработать и на новый переесть. И пересаживают. Передовиков особенно. Эти не ремонтируют свои машины, плюют, что положенный срок не отработывают. Вроде и закон такой утвердили. А все это называется бесхозяйственностью. Разве убудет кому, если я на своем две или три жизни его проработаю. И любой проработает, только заставь его, если он сам не хочет, смотреть за машиной и запчастями снабжай.

В сенокос отец Никиты взял на себя большой луг. Работали они днем и ночью: свалили траву, ворошили, подобрали и спрессовали и поставили три больших стога. И лишь на стогованье им помогала мать, укладывала рядами кипы. Отец нашел где-то брошенный стогометатель, хотя и с лебедочным ручным подъемником, но выручавшим на стогованье.

Трактор весь сенокос работал безотказно, оплатил за хороший уход за ним.

С созревaniem ягод, овощей прикатил на отпуск брат с семьей, приехали делать заготовки варенья, солений.

Мать несказанно обрадовалась гостям, особенно внуку. Отец встретил сына со снохой сдержанно. Раньше он принимал приезд Гришки за великий праздник, дня на два-три устраивал торжества, забывал о всем и о всех. Теперь он проговорил лишь, что внук подрост (ему исполнилось четыре года), похвалил родителей, что привезли мальчишку на деревенский воздух, к молоку и ягодам, и заключил:

— Устраивайтесь, как и раньше, живите, отдыхайте — у нас работа.

— Что значит, отец, «устраивайтесь», а отметить приезд? У нас же отпуск.

— Отмечай, раз отпуск. У нас горячая пора.

— Батя, да ты что! Не узнаю тебя...

— А я изменился, постарел.

Они приехали под вечер, от станции в такси. Никита заправлял к выходу в вечер на косьбу клевера трактор, подкатил следом за такси, помогал заносить в дом вещи. Брат приезжал каждое лето, жил для себя, отдыхал, ходил по ягодным местам, в леса за грибами, гостил по родственникам. Вырывался он из города с грузовой машиной в осеннюю пору, приезжал за картошкой, за яблоками и капустой; резал оставляемого для него барана, забивал гусей, уток, кур, индюка. Заглядывал он и под Новый год — за салом. У Никиты приезд брата не вызвал великой радости, казалось, что он и не отлучался из дома, лишь съездил, встретил своих.

Из-за ужина с гостями произошла задержка с выездом в поле. Отец как будто из-за этого был сдержан в разговорах, раздражен. Но оказалось совсем иное. Гришка прикатил в белых заграничных брюках, в соломенной шляпе и в кожаной куртке, замшевой слишком наряден. Отец вспомнил свою юность, о том и раздумался.

— Да, черт возьми, — заговорил он в дороге, — посмотрел я на нашего москвича и не по душе мне стал его наряд. Как-то он не подходит ему, не соответствует его положению. Тому, кто не знает его, каких он кровей, чем занимались его предки, занимаются родители, да и сам он, тому безразлично, в чем он выряжен, а я вижу, что не по нему одежда-то. Видать, это для него и стало главным. А мужик должен держаться середины, знать черту, дальше которой нельзя ему переступить. Ну, да не мы ему судьи. И меньше всего это меня волнует. Вспомнился мне один случай по поводу этого — слеза в душе пролилась. Про это ты еще не слышал.

— Расскажи, — попросил Никита. — А записал в тетради свои?

— Кажется, упустил.

Отец остановил трактор у клеверного поля, заглушил мотор, откинулся к спинке сиденья, закрыл глаза и повел рассказ:

— В сорок седьмом дело было. Отца, твоего дедушку, с войны не дождалось, получили извещение, что пропал без вести. Таким сообщениям тогда не доверяли, даже радовались, что не убит: вдруг жив? Живой, где-нибудь в другой стране застрел или тяжело ранен был, в госпитале долечивается — оставалась надежда на возвращение.

Все отцовские вещи за войну прожили, променяли, проели. Оставила только мать его праздничный костюм. Сапоги не уцелели. За семенную картошку отдали. Своя не уцелела в погребе, когда в эвакуации находились, выгребли. Пиджак с брюками лежал в сундуке.

Я к тому году уже подтянулся в росте, стал про девок частенько подумывать, приглядываться и понимать красоту в них, правда, наружную только, не подозревал, что у них еще и душа есть, что главнее для жизни. Ну, и прическу не забывал наводить, в зеркало на себя приглядываться: взял ли красотой? Красоты в себе не обнаруживал. Нос к лицу не подходил: то казался длинным, то острым, то кривым, словом, не нравился сам себе. Девки восхищались глазами, а что я в них мог разглядеть? Красоту только в чужих глазах можно увидеть, со стороны. Но, как некрасив собой, стало быть, одеваться надо с шиком. Девок, дур, конечно, и тряпками можно расположить. Но у нас их не было, тряпок-то. Мать, помню, купила к весеннему празднику костюм, новый, из рубчика. Ткань такая была, хлопчатобумажная. Радости было — новый костюм! Сразу сам в своих глазах вырос. Нарядился к празднику. Красавец — и только! В гости пошли в Поповку. На дороге дождичком нас примочило. У родни посушились — и ужас: руки мои вылезли из костюма, ноги высунулись, будто их оттяжками вытянули из порточин. Смех да и только.

Такие вещи с походом покупаются, но примерить-то не на ком было. На ком-то чужом там мать прикинула, купила. Оно село от первой воды. И сразу из женихов

в подростки меня перекинуло. Все короткое тогда только подростки носили: перерастали одежду, а тратиться на них не по деньгам тогда было. Вспомнишь — идет дылда-дылдой, а порточки до коленок или в поясе веревочкой стянуты: растолстел малый в талии.

Отец мой не подавал слуху, верно, пропал. Стал я подъезжать к матушке, как бы костюмчик отцовский поносить. Сглянулись мы тогда с одной — это уж с твоей родной. А к ней женихов липло: она первой красавицей в округе считалась, и не только считалась, а такой и была. Всех там умников-разумников, красавчиков, богатырей, плясунов, гармонистов не замечала она, а ко мне на вечерках поближе становилась, словечко все нет-нет, а бросит, будто ненароком, не мне...

— «Надо костюм надевать», — решил я и к матушке.

Примерили как-то. Заставил я мать лишний раз об отце вспомнить, поплакать. За ее слезами и сам не удержался, прослезился. Костюм оказался мне длинноватым. Решилась мать подрубить рукава, штанины, ушить местами, но по лету и времени не хватило, и жалость была портить вещь, и еще думалось, верно, ей, что и отец может объявиться, а там и на памяти было, как сел на мне рубчиковый костюм-спецовка, тут сказала, что ростом я еще буду тянуться. Заворотцы сделали. В рукавах подкладка была темная, сошло. Брюки в носки упрятал. Вырядился, пошел в это самое Перехожее. Ну, наша Маша и глаз от меня не отрывает. Заметили это кандидаты в ее женихи, сговор против меня, подозреваю, заводят. Как-то не по себе стало. Один я был из наших, а их много: целый пехотный полк — все деревни против меня. И Машка увидела это, шепнула мне скрыться тайно и не подходить к ее дому, в Засеку вернуться, а то плохо будет. Но я возгордился, не ушел. Они меня и встретили за деревней, в полукруг взяли. Один, побивший уже всех соперников, спрашивает:

— Слушай, в какой стороне твоя деревушка?

Дорога мне отрезана. Выход только на луг, к оврагам, вправо от дороги. Вижу, готовится мне взбучка. Отвечаю:

— Учился, знаешь географию.

— О, ты еще и грамотный? А ну, — топнул он, — марш к мамке на печку...

— Я тут поступил по-своему. Он только охнул с поднятой на меня рукой и опрокинулся на дорогу. Метнулся я в проход. За мной бросилась вся их свора со свистом, с криками. Я от них по склону — и чувствую, выпростались мои штанины из носков, спутывают меня, я падаю... Тут обрывчик. Потом только понял, что произошло. Внизу сбились все в кучку, кого-то мордуют. Мимо меня проходит к свалке пострадавший, приказывает:

— Расступись, дай я с ним поговорю. Недолго думая, снимаю злополучные брюки,

в руку их да бегом в гору, к дороге. Там разобрались, в чем дело: своего побили. Он споткнулся на мне, перелетел в овражек, оказался впереди — его и приняли в суматохе за меня. О, какой там гвалт поднялся — а меня нет. Беспортошного не догонишь... И такое бывало.

Из-за горизонта, изорванного деревенскими деревьями, вышла луна, осветила клеверище, округу.

— Давай начнем, сын, — сказал отец. — Отрежем — чтобы управиться до сна. Утром подкосим еще, глядя по погоде. Лишку валить не будем, на стог, а погода устоит, развернемся пошире.

Отпускник Григорий начал свою деятельность с родного дома, с брата. Однажды он оставил его в своей комнатухе, тайно шепнул:

— Малец, дело есть. Приодеться хочешь?

— Я одет, — ответил Никита.

— Хмы, одет! Что это за одежда? Возьми вот, примерь. — Григорий подал из-под подушки брату новенькие джинсы, заграничные.

Никита осмотрел джинсы. Подарок нравился, и оттого и радостно вдруг стало. Брат дарит такую обнову. Он приставил их к бедру: длинноваты, но это пустяк. Оказывается, брат любит его, не забыл о подарке. Майку с трусами по приезду подавала жена его, Надежда: то от нее, а джинсы от брата. Григорий довольно улыбался, приговаривал:

— Вот, простота, в чем ходить-то надо, а не в двух мешках, сшитых сверху. Мерь, не стой истуканом.

— Потом. Пускай лежат, — ответил Никита и понес джинсы в свой угол, обернувшись, поблагодарил: — Спасибо, братух. Я тебе тоже что-нибудь сделаю...

— Подожди, подожди, — забеспокоился вдруг Григорий. — Ты это... ты не поносишь... ты мерь... посмотрим, как они...

А— й, вот пристал, — сказал Никита. — Охота мне раздеваться?

Никита снял свои «мешки», натянул джинсы, застегнул молнию, пуговицу. Григорий склонился и завернул ему штанины светло-серой изнанкой наружу.

— Мать потом подрубит, — сказал Никита.

Чего подрубит? Дрова это тебе, что ль? Где ты видал, чтобы джинсы подрубали? Вас потом куры засмеют. Их так носят.

— За отвороты земля будет засыпаться, листва, мусор.

— Не создавай глупых теорий. Американцы не дураки, — возразил Григорий и принялся вертеть Никиту перед зеркалом. — Ты, простота, в них как влитой. Потом зайдешь выше пояса в воду, с час постоишь, дашь высохнуть на себе — и носи вечно. Трактором не стянешь.

— А вечером как снимать? — спросил Никита.

— Зачем — в них спи, пока не развалятся.

— Да ты что! — удивился Никита. — Я чумовой? От них же вонь будет на всю округу.

— Стирать будешь! Намочишь на себе, намылишь — и чистые. Все американские ковбои так носят. Простота с темнотой. Ты смотри, смотри! — Григорий не отпускал Никиту от зеркала. — Смотри! Весь товар налицо. От девок, как глянут, отбоя не будет.

Никита развернул плечи, освобождаясь от рук брата, снял джинсы.

— Ну, берешь? Нравятся же? — спросил Григорий.

— Положу, раз привез.

Ч— то значит, положу? Тугрики гони. Чистоганом! — потребовал Григорий.

А сколько? — спросил озадаченный Никита: за подарки денег, чтобы требовали дарители, не слышал.

— Сто семьдесят, — скороговоркой ответил Григорий.

— Что, что? Ты оговорился, братух?

— Ты, братух, не ослышался!

Никита скомкал джинсы и запустил их в угол, свалив со стола банку с цветами.

— Спасибо за подарок! — сказал Никита и пошел из комнаты.

— Чудак, мне же их продать дали, — сказал Григорий вслед. — Простота, простота...

Несколько дней Никита не разговаривал с братом — не потому, что не получил подарка: было другое. Джинсы не стоили таких денег. Может быть, найдутся дураки, заплатят и больше, сколько с них не запросят, но зачем спекулировать на своих? Искал бы других покупателей.

— Малышок, ты не дуйся на старшего, — сказал однажды Григорий Никите при отце. — Это верно не мой товар. Я за границу не езжу. Были наши на съемках

фильма за рубежом — оператор провез, дал мне распространить.

— Что за товар? — спросил отец.

— Обыкновенные джинсы, — ответил Григорий. — Брюки такие, иностранные.

— Покажи. В брюках я толк понимаю, — улыбнулся отец.

— Если купишь...

— Давно котов в мешках не покупаю. Вещи сперва смотрят, меряют, потом торгуются.

— Тут твердая цена: сто семьдесят, — заявил Никита.

— Это что-то новое. Портки — сто семьдесят! — удивился отец. — Выгоднее беспорточным ходить.

Григорий принес джинсы. Никита лишь искоса взглянул на них, встал со скамейки и ушел из сада, но вернулся. Было интересно, что будет говорить отец про джинсы. Он все еще их рассматривал, приговаривая:

— Хороши, слов нет. Вот они, американцы! На всю жизнь одни портки. И работай, и гуляй в них. Говоришь, и спят в них?

— Ну! — подтвердил Григорий.

— Экономия все, — продолжал отец, снимая брюки. — Тут не успел надеть, у тещи посидел на лавке, и очки сзади... Да, ребята, такие бы мне сразу после войны. За меня бы девки друг дружке волосы повыдирали.

Никита строго смотрел на сцену переодевания отца в заграничные джинсы из домашних сатиновых шаровар, думал: «Купит — не купит? Примеряет. Шутит, наверное?»

— Что хороши, то да, — заключил отец. — Но поджимают. Не по мне такие. Ах, черт возьми! Поэкономили на материале, империалисты, миллионеры проклятые... И сто семьдесят, говоришь?

— Ни копейкой меньше, — ответил Григорий. — Не мои — не торгуюсь.

Отец повернулся к Никите, дождался его взгляда, спросил:

— Никитка, будешь такие носить?

Никита медленно, с уверенной отрицательностью покачал головой.

— Я тоже не буду. Так тяжеловат стал, а в таких и вовсе промоину не перепрыгнешь, — отказался отец от джинсов. — Возьми. — Он сел к столу, заговорил: — Сто семьдесят. Считай — три баранчика. Нет, тут или люди с ума походили, помешались на модах, или действительно у них куры денег не клюют?

— Деньги есть, отец, у всех. И ты не из бедных.

— Тем более теперь не пьешь, — сказал Григорий с некоторой обидой от неудавшейся сделки. — Дай, батя, в долг?

— Тебе, в долг? — спросил отец. — На какие нужды и сколько?

— Три тысячи, — не задумываясь, ответил Григорий. — Понимаешь, я решил свои колеса занять, не хватает... на гараж.

— Слыхал, Никита? Брат машину покупает... с гаражом сразу. Три тысячи надо. Проси у матери. Я не копил. Есть у меня малость, но не дам. Наследнику надо сколько-то оставить. А еще советую тебе у родных не занимать. Друзья есть, знакомые. Родным потом трудно отдавать будет.

— Почему? — спросил Григорий.

— Все будешь тянуть, ждать, что простят. А как не простят, всю жизнь помнить про это будешь, болеть душой, что плохие у тебя были родные: долг содрали... И зачем тебе машина? Тебе государственная не надоела — работаешь шофером?

— На той гроши заколачивать, на своей — отдыхать.

— Все ясно. Так-то, Никита, жить надо. Поговорили, а теперь по хозяйству покопаться пора.

— Значит, джинсы не берем? — спросил Григорий, взяв их со стола. — Завтра по деревням понесу — ни одних не останется.

— Поторгуй, — ответил отец на ходу. — Мы еще в своих, в дешевеньких походим. — А машину ты напрасно покупаешь.

— Как понимать, напрасно? — спросил Григорий.

— Характер испортится. Он и так у тебя неустойчив, а с машиной совсем не узнать будет: от земли, от людей оторвешься...

...На второй день в Засеке оказалась Ольга, зашла к Глазуновым, угадала к обеду, когда все были дома, усаживались за стол обедать.

— Здравствуйте! Мы к вам, — заявила Ольга, выступив, словно из-за кулис на сцене, из-за молодняка вишен и слив. — Никита, такое дело. К нам сегодня приезжают...

— Оленька, — перебил Иван Павлович, — не надо сразу о делах: аппетит испортится. Сейчас к столу, за столом все не спеша и выскажешь. Никита, проводи девочек к умывальнику.

За Ольгу пряталась Лена Королева. Никита сразу и не заметил ее.

— Сиди, Никита, — сказал Григорий. — Я поухаживаю за пионерками. Сиди, простота.

— Мы уже в комсомоле, — сказала Ольга.

— О, такие старые...

Григорий развязно-просто заговорил девчонок, молот чепуху, вызывая у них смех. Никита не понимал, что смешного в словах брата. И девичий смех и братнин голос злили его.

— Пойду помогу матери, — сказал Никита и направился к плите, стараясь скрыть от всех раздражение, объяснить которое не мог и сам.

Но отец-то догадывался, что Никита вырос и уже не согласен жить на одном с ними уровне, легко и бездумно. Душа его, разум, словно чувствительные приборы, угадывали то, с чем нельзя жить человеку, что не делает чести мужчине. Из-за этого уже была на Никиту жалоба от Коли Захаркина. Стояла у мастерских дикая яблоня, из семечка выросла и уже цвела вторую весну. И такой цвет распускала, что сравнить ее можно было с красивой девицей. Коля Захаркин задел эту яблоньку прицепом, надломил ствол и чуть было не получил от Никиты по шеям.

— Лучше бы он меня ударил за поганое зелье, — сетовал Коля, — а оскорблять словесно не надо было. Мал он еще на это, можно сказать, сопляк.

— Лучше бы побил, — ответил тогда Иван Павлович Коле. — Побоялся по молодости. Но все еще впереди — побьет в другой раз. Яблоней все любовались, а ты ее задавил...

Замечалось за Никитой, что пристальнее он стал приглядываться к людям и особенно внимателен стал к отцу, к его делам, перенимал то, с чем предстояло жить все годы.

17

Никита с Григорием провожали девчонок до Верхней Гнилуши. Дело, заставившее их прийти в Засеку, было интересным для Никиты и счастливым случаем для брата. Этот нес в сумке джинсы. Ольга загорелась купить, принарядиться, только у нее не было своих денег, надо было выпрашивать у матери. Она надеялась, что мать уступит ее просьбам. Она же одна у нее дочь, любимица.

Никита шел слушать поэтов. Вечером в Верхней Гнилуше была объявлена встреча в клубе с областными и московскими поэтами. Григорий не собирался оставаться в клубе, сказал:

— Чего на них смотреть, артисты они, что ль? Я самого Высоцкого, вот как вас, видал, в кафе сидели вместе. А это все мелюзга. Как до него, так и после, таких артистов вы не встретите.

— А я его не люблю, — сказал Никита.

— Да ты что, в уме?! — удивилась Ольга. — Как же можно не любить. Все поют... да это же... Нет, Никита, ты совсем отсталый элемент. Мотоцикла не

покупаешь, магнитофона у тебя нет.

— Чего ты, Оляка, хочешь, чтобы все одинаковыми были? — вступилась за Никиту Лена. — Высоцкий хорошо сам поет, а когда мальчишки орать начинают — они на хулиганов похожи. Как громили глотки дерут.

Летняя дорога была легка. Порывисто дул ветер, схватывал пыль и нес ее к Верхней Гнилуше. Девчонки держали руки по швам.

— Теперь только простота, глупые, как вы, в платьях ходят. Джинсики не надо было бы держать всю дорогу ручками. Ураган бушует — не завернет подола.

Они вышли к спуску на луг, голый, бестравный, но не кажущийся просторным, как весной. Григорий показал на белые крыши за деревней, спросил:

— Девочки, а что-то там у вас за студию построили?

Рванувшийся ветер снес с головы Григория шляпу, бросил на дорогу и покатиł вниз.

— Ах! Никита, догоняй! — крикнул Григорий.

— Каждый сам свою шляпу должен спасать, — ответил Никита.

— Эх вы! — произнесла Ольга и пустилась вдогон за шляпой.

— Смотри, простота, учись, как в беде другим помогать надо, — сказал Григорий.

Ольга настигла шляпу, наклонилась схватить, но она увильнула. Не поймала ее и со второй попытки и, решив задержать ее ногой, просчиталась и наступила, смяла в блин.

— Плакала, братух, твоя, соломенная. Учись, кому нельзя доверять шляпу, — сказал Никита.

— А ты не мог поймать. Лодырь несчастный, — ответил Григорий, взяв от Ольги шляпу. — Что ж ты, простота, наделала? — запричитал он. — Кто же на шляпу ногами наступает?

— Она так катилась, как живая. Не поймать было, — стала оправдываться Ольга.

— Что теперь, простота, я носить буду?

— Новую купите, — подсказала Лена.

— За лето по две шляпы не покупают, — ответил Григорий. — Их, простота, годами носят.

— Это деды годами, а молодые теперь не так, — сказала Ольга. — Мода прошла — новое покупается.

— Мода на все другое, кроме мужских шляп. На джинсики — да, — возразил Григорий.

— А говорили, их годами не снимают? — спросила Ольга.

— Это к слову говорится. Можно не снимать. Но завтра может начаться мода на шотландские джинсы.

— А там какие?

— Там коротенькая джинсовая юбочка. Все мужики в юбках.

— Ну, это неинтересно.

— Я к примеру говорю. На мой товар мода никогда не пройдет, заверяю вас, — сказал Григорий. — Покажетесь родителям — понравится.

Никита нес товар брата. Григорий расправлял шляпу, горестно причитал о случившемся.

— Дядя Гриша, не тужите так сильно, — сказала Лена. — Нервы дороже шляпы. К тому же она из соломы.

— Что ты, простота, понимаешь. Джинсы купишь — не буду тужить.

— Ну, мне не купить. Это Оляка может. Мы бедно живем, — ответила Лена.

— Что так?

— Нас у мамки четверо — она одна работает. Я помогаю иногда...

— А батя где? — спросил Григорий.

— Любил весело жить, каждый день справлял праздники — допраздновался.

— Это бывает. Теперь таких дураков много... Ты не купишь — подруг приводи.

— Скажем девчонкам, — пообещала Лена. — Дорого только дуже.
— Цены не мы сами устанавливаем. Тут закон рынка.
— Черного? — спросил Никита.
— Рыжего, — ответил раздраженно Григорий. — Ты мал еще что понимать в торговых делах.
Никита улыбнулся и промолчал.

Лобановы были на работе. Ольга натянула за перегородкой джинсы, вышла к зеркалу, повертелась и сказала:

— Все, не сниму ни за что! Ленка, иди и ты проси у матери денег. Смотри, красота какая. Все от зависти будут лопаться.

— Покупай ты, Оля, одни на двоих будем носить, — ответила Лена.

— Нет уж, фигушки тебе... Я за матерью сбегаю. Ждите тут...

Ольга унеслась из дома и вскоре привела мать. Вера Алексеевна, переступив порог дома, поздоровалась с гостями, заговорила:

— Совсем девка ошалела. Принеслась, как тут пожар. Могла бы накормить гостей до нашего прихода, потом порешили бы все дела. И в кого такая верховостка уродилась? Штаны ей понадобились. Тоже моду выдумали. В портках-то ни девка, ни мужик.

— Дураку только и можешь понравиться в такой одежке.

— Ничего ты, мам, не понимаешь, — ответила Ольга. — Давай денег — я не снимаю джинсы.

— Сколько денег-то тебе на них надо?

— Сто семьдесят, тетя Вера, — сказал Григорий. — В Москве за такую цену не купить. Были бы мои, сбавил бы, а то дали продать.

Вера Алексеевна присела к столу, осмотрела на дочери обнову, сказала:

— Отца надо ждать. Деньги у него хранятся. Он хозяин.

— Какая ты, мать, право! У всех матери Деньги держат, а ты отцу отдала.

— Матери держат у тех, кому доверять нельзя копейки: пропьют, промотают. А у нас хозяин есть — ему и все заботы, — ответила Вера Алексеевна и посмотрела на часы. — Скоро отец придет. С ним разговор будет. Ты займи тут гостей, медком угости, вареньем, самовар согрей. Я скоро вернусь — не хорошо раньше-то работу оставлять...

18

В Верхней Гнилуше двое купили джинсы: Ольга и Витек Королев, двоюродный брат Лены, пэтэушник, на два года старше Никиты. Григорий остался доволен ходом дела. Через несколько дней к нему пришли трое из Анканова и купили еще двое джинсов, а у третьего не хватало денег (просил подождать недостачу — Григорий согласился ждать, но товар не отдал, отложил на заказ), обещался вскоре добыть. Никита недосматривал за братом, но о всем знал чутьем, словно видел сквозь стены базар брата.

Покупателям он не завидовал, не до того было: он все свободные минуты стал отдавать пчелам. Петр Сергеевич продал почти даром Никите три пчелиных роя. Забот хватало, надо было читать книжки по пчеловодству, готовить рамки, магазинные надставки на ульи, приводить в порядок инструмент, разные принадлежности; следил за работой пчел, привыкал к ним и их приучал к себе.

Мать сшила Никите холщовую рубаху со штанами, просторные, чтобы не обтягивалось тело и пчеле не было бы возможности жалить через одежду. За эту одежду Никите разом дали прозвище Дед, что вызывало у него улыбку и гордость. Но обзывали Никиту Дедом лишь мальцы. Впервые он услышал это от Митьки Цыганова.

Отец Никиты работал на тракторе, а он ремонтировал комбайн, устранял мелкие

поломки, делал смазку трущихся узлов, красил, где требовалось. Однажды он шел на обед через сад и услышал за вишенником беспощадное хлестание по дереву. Кто-то, словно нагайкой, ссекал древесные побеги и зеленую листву с веток.

У Никиты сдавило в груди, словно стегали по нему, стегали без вины. Он бросился через цепкие кусты, разодрав рубаху, выбрался на простор. Перед молодой грушей стоял враскорячку, спиной к Никите, с палкой в руке Митька и лупил по веткам. Он не слышал, как подбежал к нему Никита, вздрогнул, схваченный за руку.

— Что же ты делаешь, Цыганище? За что грушу губишь?

— Я не гублю, не гублю-у...

Никита перехватил Митьку за ухо, больно крутил.

— Оторву тебе твои лопухи — будешь знать, как деревья портить. И волосы повыдираю.

Никита левой рукой захватил волосы на Митькиной голове, поднял несколько ссеченных грушевых побегов, спустил с него штаны и хладнокровно стеганул Митьку несколько раз по оголенному телу.

— Всего испорю, ощипаю и пущу по деревне за эту грушу.

Митька заревел, взмолился, что больше не будет стегать деревья. Никита отпустил его с предупреждением.

— Ну смотри, не забывай обещания. Потом несдобровать будет.

Освободившись, Митька натянул штаны, вытер слезы и закричал:

— А ты дед. Дед в холстинных портках. Дед, вот ты кто... А грушу я все равно сломаю — все поломаю!..

Никита припустил за Митькой, но не погнался, лишь припугнул. И до дома он смеялся над своим прозвищем, у дома, оглянувшись, увидел вдалеке следившего за ним Митьку, повернул в его сторону, погрозив кулаком, заставил того поспешно скрыться из виду, сказал:

— Будешь, сопля, знать деда...

Раньше всех у дома Глазуновых был поставлен отремонтированный комбайн. Оставлять его у мастерских было рискованно: там могли растормошить ходовое оборудование, переставить на другой или продать налево, на этом отец Никиты был учен раньше. У дома и еще можно было не раз проверить исправность, опробовать мотор, сцепления, цепи, чтобы в день выхода в поле машина работала бы безотказно, как бритва парикмахера.

Наступил и день начала жатвы, поспела рожь.

Никита сел на трактор с зерновым прицепом и следом за отцовским комбайном выехал в поле. Как и на сенокосе, они взяли себе клин, не стали мешаться со всеми в одно звено и начали первый прокос раньше других.

Оставив трактор у закоса, Никита отправился с отцом на комбайне. Окрайки поля были с мелкоколосной рожью, на круге не думалось намолотить полный бункер, он помогал отцу опробовать комбайн в работе. Комбайн работал безупречно, с корня брал рожь, обмолачивал, зерно сыпалось в бункер, солома спадала в копнитель и кучками оставалась на жнивье.

За первым прокосом рожь стояла высокой стеной, с тяжелым умолотистым колосом. Никита смотрел на бегающий нож, на взлетающих впереди жаворонков, в бункере — на струйку зерна, следил за руками отца. Комбайн походил на корабль. Никита по-капитански стоял на вахте. Все вокруг было подчинено ему: и это ржаное, волнистое поле, и деревня, от которой они удалялись, и колхозный темный сад, и леса по склонам оврагов, и поля с разнохлебьем, с сахарной свеклой, с картофелем, с зеленеющими снова клеверами и травами. Наверное, то же чувство было и у отца: очень спокойно и уверенно вел он комбайн.

Погода стояла звонкая, страдная. Из глубины поля пулями проносились оводы, промахивались, падали за комбайном, иные разбивались о железо, беспомощно

ползали по покатосям кузова и сваливались в открытые люки на разمول.

Бункер наполнился раньше завершения круга. Отец остановил комбайн, встал.

— Придется, Никита, бежать за трактором. — Он осмотрелся кругом. — А те мужички что-то застряли? Видно, совещаются, где и как косить, или зарплату делят: не могут сговориться, как платить бригадиру.

Отец развел руки, потянулся, словно хотел обнять поле, землю с ее необъятным простором, небо.

— Начало, сын, хорошее! Так пойдет — быстро уберемся. А в ночь соломку подбирать. Приглядись, где омет ставить будем.

— Ближе к дороге поставим, — ответил Никита, слез с комбайна, постоял, утвердился на земле после комбайновой качки и пустился во весь дух к трактору...

Григорий собирался уезжать. Жену с сыном оставлял в деревне до приезда с машиной за вареньем, соленьями и другими запасами. Сарай, в котором они жили, был заставлен банками разных емкостей, с вареньем земляничным, клубничным, вишневым, смородиновым, компотами, соленым щавелем, маринованными грибами. На стенах висели мешки с сушенными: вишни, черемухи, ягод, грибов, фруктов и вяленой рыбы. Без грузовой машины запасы было не увезти, но они с каждым днем прибавлялись. Готовилось, словно на всю жизнь. А за всем этим подходили яблоки, помидоры, разная огородная растительность; подрастали цыплята, гуси с утками, бараны; ульи наполнялись медом. И хотя Никита ответил брату, что больше блюда меду ему не даст, но для племянника Витюшки уже замышлял налить трехлитровую баночку, потому что Витюшка помогал ему, раздувал дымарь, когда Никита осматривал ульи, а еще полюбил племянника за то, что он не стал его звать дядей, а стал называть Никешей, как научил его сам Никита. Не нравилось ему так рано называться дядей, считал, что не дорос он еще до такого титула, маловат.

Григорий нехотя помогал отцу с братом ночью стоговать солому. Но тут же приехала сестра с мужем. Эти с первого же дня пришли на поле помогать родным. Наташку отец отправил домой, днем ей не было в поле работы, а зять сел к Никите на трактор.

Сестра отличилась от брата. Она привезла младшему непромокаемую куртку с капюшоном и удивилась, когда Никита перед примеркой спросил:

— Сколько стоит?

— Что значит «стоит»? Это же в подарок.

— Спасибо, сестра! — поблагодарил Никита и поцеловал Наташку. — Я тебе меду дам, когда поедешь. И тут пей с чаем и так ешь.

— Спасибо, братик! — поблагодарила за гостеприимство сестра Никиту. — У нас в роду все добрыми были. Давай не будем по другим равняться. Пусть они живут, людей вокруг себя не видя, своим праздникам радуются, а мы общей радостью будем держаться.

Однажды Наташка прибежала на поле, издали размахивая газетой. Убирали ячмень. Никита первый встретил сестру.

— Что стряслось там у вас? — спросил он.

— Отцов рассказ напечатали, — сообщила сестра. — Смотри и побежали скорее к нему, порадуем!

— Чего бежать? Садись в трактор, встретим. Никита покатил навстречу комбайну, но остановил трактор:

— Куда несемся-то? Сам подъедет. Дай посмотреть газету.

И опять на третьей странице Никита прочитал фамилию и имя отца: «Иван Глазунов. Возвращение. Рассказ».

— Видишь, какой наш отец, — сказала сестра, — как настоящий писатель.

— До настоящего ему далеко. У него столько ошибок в тетрадках. Я раз видел... Если бы он грамотный был...

— А тут-то без ошибок. И так ладно.

«Не понравилась нам с Петькой работа на заводе. Может быть, мы привыкли бы к ней, но привыкать мешала тоска о родной Засеке, и мы сговорились убежать, вернуться домой, какие бы преграды на пути ни встретились. А преграды были на каждом шагу. За нами смотрели многие глаза. Кто сбегал, задерживали на станциях и возвращали назад, потом судили. Но мы этого не побоялись и однажды рано утром выпрыгнули со второго этажа из общежития и скрылись в неизвестном направлении, подались по железной дороге.

Мы не пошли на пассажирский вокзал, а отправились к сортировке вагонов. Была осень, октябрь. По утрам замерзали лужи и на траву садился мороз. Но днем разогревало, можно было греться в затишье на солнце.

На сортировке стоял лязг буферов, шипенье и гудки паровозов, свистки сцепщиков и крики по радио, отчего по коже мурашки от страха пробегали. Я подошел к одному сцепщику и попросился, чтобы он нас с Петькой отправил бы с каким-нибудь товарняком на Москву, что мы ему за это заплатим, что дадим ему хлеба.

Хлеба мы насобирали перед побегом. Но сцепщик не взял хлеб, а потребовал с нас наши бушлаты. Он спросил, из каких мы мест, и сказал:

— В Москве вас задержат сразу, а вот на Елец пойдет пассажирский вагон для санпоезда — в собашнике доедете.

Он упрятал нас в железный ящик под вагоном, дал рваную фуфайку на двоих — и мы отправились в долгий и опасный путь. В дороге, когда наше «собачье купе» гудело от ветра и стука вагонных колес, когда нас продувало ветром, было радостно, а на долгих стоянках товарных разъездов, где рядом слышался людской разговор, свистки то ли сцепщиков, то ли милиционеров, было страшно. Мы затаивались в собачнике, умоляли паровоз быстрее трогаться со стоянки, тащить состав дальше...»

Отец остановил комбайн напротив трактора. Никита неохотно оторвался от газеты, уступил ее сестре. Рассказывал отец раньше, как бежал он с Петром Сергеевичем из ФЗУ с Урала. Но подробности путешествия забылись. Он не помнил, поймали их или не поймали тогда.

Наташка выхватила из рук Никиты газету, выпрыгнула из кабины, поднялась на комбайн, обрадовала отца новостью, поздравила и поцеловала. О чем они говорили, Никита не слышал, но по движениям отцовских рук было видно, что он не намерен долго стоять. Взглянув на газету, вернул ее Наташке, приготовился пустить комбайн. Никита знал, как ценил отец в такую пору каждую погожую минуту. Он не ждал у мастерских, когда спадет роса, можно будет выезжать в поле, — выезжал на межу, как говорил военным термином, выходил на исходный рубеж, чтобы вовремя броситься в атаку. И вечером он оставлял поле последним. В эту пору у него никогда не бывало срочных, неотложных дел по дому. Однажды он не остановился даже для разговора с корреспондентом из областной газеты, провел его полем, до места разгрузки бункера, а потом катал несколько кругов, отвечал на вопросы на ходу. Отец смеялся потом:

— Поговорим, а записать ему не удастся мои слова, боится упасть. Катался от остановки до остановки. Что-то успел схватить и остался недоволен: «Накатал ты меня, Иван Палыч, — упрекнул. — Я за это время три интервью мог бы взять. Недоработка у меня на сегодня».

И конечно же, отец ему сказал:

— Лучше меньше, но лучше. А в другой раз вы по этому делу, когда надо поговорить, по дождю приезжайте.

Корреспондент обещал постараться, но больше не казал носа ни по погоде, ни в непогоду.

Никита вспомнил, как приставали к нему ребята в школе, когда в газете была первая заметка отца «Неуважение рода своего». И теперь будут говорить о рассказе с восторгом и завистью, с пренебрежением и заинтересованностью, а написано ли еще что-нибудь, и не написал ли отец что-нибудь про деревенских пьяниц. Об этом и раньше спрашивали. Особенно интересовало это самих пьяниц.

Наташка вернула Никите газету, ушла в лес за грибами. Но читать Никите рассказ было некогда, через несколько метров надо было принимать зерно и везти на ток.

Первыми, кто остановил Никиту по дороге к зернохранилищу, была Ольга с их деревенским парнем-мотоциклистом. Они были в красных касках, в джинсах. За несколько метров мотоцикл сделал разворот и встал поперек дороги. Никита посигналил, хотел объехать, но Ольга подняла руку — остановился. Она подошла к трактору и показала Никите газету.

Он отворил дверцу, пригласил ее в кабину. Ольга махнула мотоциклисту следовать за ними, села в кабину.

— Чего-то катаетесь? — спросил Никита.

— Газету вам привезли.

— У нас есть, — крикнул Никита. — Чего не работаете?

— Обязательно работать? Успеем еще. А Сергей вообще городской теперь — кто его заставит работать?

— Ты работала бы.

— Чего ты все о работе. Ты знаешь, где мы уже побывали? В три города скатали. В Тулу собираемся.

— Что там делать?

— Посмотреть. На «Яве» так здорово носиться, как на самолете летишь. Ты вот не хочешь купить себе.

— Зачем он мне, на «Беларуси» не хуже.

— Никита, а ты деньги получал? — спросила Ольга.

— Давали.

— Ты нам с Серегой одолжи.

— Зачем?

— На поездки. Если можно, триста рублей.

— Тебе одолжил бы, а Сереге не могу. Он городской — в городе пускай одалживает.

Ольга замялась, посмотрела на замасленные руки Никиты, сказала:

— Какие все жадные! Останови трактор. Хотя ладно, кати дальше. Одалживай мне.

Т— еперь и тебе не смогу. Если сама куда поедешь, без этого...

— Ну и не давай. Найдем без тебя. Серега сейчас к бабке заедет. А вы, вас я всех ненавижу больше!

Никита остановил трактор, отворил дверцу, скомандовал:

— Уходи!

— И уйду. Испугал...

Мотоцикл, словно дразня Никиту, повилял перед трактором, рванулся вдруг и умчался вперед, оставив за собой пыльный хвост. Встреча с Ольгой не понравилась Никите, вызвала на некоторое время раздумье и раздражение. Чтобы заглушить это чувство, он переключил на большую скорость, оглядываясь на прицеп, понесся лихо вперед, сливаясь с дрожащим горячим трактором. Ольга стала чужим человеком. Раньше она советовалась с ним во многих даже мелких делах. Теперь — «одолжи триста рублей». Гришка просил у отца три тысячи. А помочь отцу лишний раз не хотел. И эта не спросила о работе, а только о деньгах и — одолжи. На джинсы выпросила у своих родителей. Раскатывать в них на мотоцикле. Дура, больше ничего.

Но ненавидел Никита Серегу, возненавидел с первого взгляда, когда шел с девочками в Верхнюю Гнилушу в клуб на встречу с поэтами. Серега курил на улице, был в окружении пацанов, представлял для них интересную личность с большим житейским опытом. Он отозвал Ольгу, смерил Никиту презрительным, уничтожающим взглядом, сказал:

— Ты хилий дальше, нас не жди.

Никита ответил ему простой улыбкой. Он не ушел бы. Можно было постоять и ответить понятным словом, а при случае и подраться, хотя и было опасно: Серегу окружала мелкая бестолочь — столько насыют кулаков со всех сторон, что не успеешь ни от кого отмахнуться. Но его потянула за рукав Лена Королева, увела в клуб.

Никита разгрузил прицеп и покатил назад. Было жарко. Теперь солнце было перед глазами. Он включил вентилятор. Погнало прохладу. Ольга с Серегой забылись. Никита вспомнил, каким новым был отцовский трактор, когда он его получил и стал обкатывать, но потом запустил, захламил. Теперь же, когда не стал пьанствовать, отремонтировал, оборудовал всем, что было в кабине тогда, и даже пристроил транзисторный приемник, термос для воды и чая. Пыль все же пробивалась в кабину, но не стало той мазутной грязи, от которой раньше выбирался из кабины весь в черных масляных пятнах, словно смазчик машин.

Дорога была пыльная. Давно не было ветра, пыль не сдувало. По придорожью из-под пыли не было видно зелени. Пустели с каждым днем поля, заметно уходило лето. Никита сосчитал дни до школы. Недолго оставалось работать. Казалось, что и не успеют скосить хлеба, подкатится первое сентября, бери портфель — дуй в девятый продолжать образовываться. И жаль было бросать работу, не закончив начатого. Учиться теперь предстояло вдаль от дома, за тридцать километров. Такое стало совсем недавно, закрываются школа за школой, мало учеников. Начинал Никита учиться в Засеке, в своей деревне. Теперь подавайся в третье место, устраивайся квартировать. Домой попасть можно лишь на воскресенье, если будет дорога, не станет автобус. И попробуй тогда помочь отцу с матерью: в субботу с потемками доберешься к дому, а в воскресенье подавайся назад. Пускай городские учились бы в деревне, чтобы там воздух чище был. Или нарочно так придумали — городские куда хотят, а деревенским всю жизнь землю пахать...

Никита проехал дорогу на поле, спохватился за несколько метров за развилкой, что не свернул, прокатил мимо, пропустил две встречные машины и развернулся, дождавшись, когда рассеялась пыль. В такую завесу можно легко попасть в аварию. Надо меньше думать о пустяках. Кто захочет учиться, тому не загородить дорогу...

19

Никита дочитал рассказ отца. Когда он рассказывал о возвращении домой, то было смешно, а написанное не сместило. Было грустно. Не захотели мальчишки оставаться в оккупации, ушли к своим, там хотели попасть на фронт, прибавили года, но прибавили мало — были направлены в глубокий тыл, в ФЗУ, оттуда сбежали, потому что не туда рвались, были малы на трудную работу, оказались в сиротстве и заскучали по своим родным, по деревням.

В Ельце, куда назначался вагон, их обнаружили в собачнике полуживыми от холода и голода. Они не могли сами выбраться, а когда их вытащили, то не могли стоять на ногах. Вагон от железнодорожной службы принимали военные. Весь ненужный груз, пассажиров они могли бы не брать в расчет, но когда железнодорожник стал валтузить ребят, чтобы добиться от них, как попали они в военный вагон, откуда и куда едут, и стал угрожать им милицией, военные вступились за них и проводили в свою комендатуру. Там им дали поесть, помыли в душевой, переодели, показали врачу и расспросили потом, откуда родом и куда

направились, не жалея жизни. В железном ящике могли замерзнуть или скончаться от голода. У них не хватило духу врать, что-то придумывать, когда с ними обошлись по-человечески, они рассказали правду. К тому времени их местность оказалась освобожденной. Ребят отпустили домой. На фронт они не годились и опоздали: немец уже драпал вовсю на запад, им его было не догнать, и больше пользы от них ждал колхоз...

В жизни отца было много разных приключений, но Никите повторить его жизнь не хотелось. Да и кто захочет ради опасного приключения из чистой одежды переодеться в рванье, голодать и кормить вшей?

Однажды к Никите пришел Петр Сергеевич проверить ульи, объяснить юному пчеловоду, как подготовить пчелиные семьи к зимовке. Уже отходили цветы, кончался главный взяток, надо было регулировать заполнение рамок медом в гнездах, ограничивать работу в надставках. Они сговорились об этом заранее — Никита остался с обеда дома, подготовил дымари, одежду, запасные рамки.

Петр Сергеевич, как заметил Никита, был не в себе, чем-то расстроен. Он отказался от обеда, заспешил к делам. Его сразу же в руку ужалила пчела.

— Скверные наши дела, Никиток, — сказал он. — Понервничал я из-за дочери. Первая серьезная размолвка вышла. Души в девке не чаял, а она вдруг взрослой себя сочла, на собственный лад жизнь повела.

Никите неловко стало от услышанного. Он ни слова не мог сказать в утешение, не дорос до этого. И Ольгу осуждать не стал тоже, чтобы не огорчать еще больше Петра Сергеевича. Пожалел, что нет дома отца — с ним-то они поговорили бы, как-никак друзья с детства.

— Ну, ничего, бывает, — сам себя утешал он. — Я думаю, что она поймет, что хорошо, что дурно.

Переходный возраст. Ты к нам редко стал заходить. Понятно — работаешь...

Петр Сергеевич отходил, успокаивался от собственных слов. Встревоженные пчелы, пьянея от гнилушечного дыма, подобрели. И работа пошла спокойно. На солнце просматривались тяжелые рамки и сортировались. Крайние, с незаполненными сотами, переставлялись в середину улья, где пчелы всегда охотнее оставляют взяток.

— Славно пороботали семьи, — одобрил Петр Сергеевич. — Можно сказать, лето было удачливое. Хорошо перезимуют, потом крупные рои отойдут. Но загадывать не будем...

Оставалось поставить крышу на третий улей, унести отобранные с медом рамки в амбар для выкачки и хранения, собрать все принадлежности, когда за домом затрещал мопед и раздался крик. Кто-то звал Никиту.

Петр Сергеевич вздрогнул, спросил:

— Кто еще такой взбалмошный? Кому ты понадобился?

— Я посмотрю?

— Подождет. Надо закончить дело, потом уходить. Пчелы не любят мельтешения, — ответил Петр Сергеевич.

Крик повторился. Никита узнал голос Саньки Цыганова. Он разом и появился в саду, остановился, не решаясь подходить к ульям, сказал:

Никишок, новость. Твоя Олька разбилась. За поворотом — на перекрестке.

— Не ори, — сказал Никита. — Не видишь — пчел смотрим?

Петр Сергеевич снял маску, спросил:

— Про чью Ольку он кричит?

— Он балабол — слушать его...

— Подойди же. Целы будут твои пчелы, — требовал Санька.

Петр Сергеевич поставил на улей крышку, сказал:

— Прибирайся, Никита.

Он направился к Саньке. Никита отставил в заросли вишни дымари, наблюдая за

Петром Сергеевичем и Санькой, отнес к амбару ящик с рамками и поспешил к ним. Он видел, как Петр Сергеевич медленно поднял руки вверх, охватил голову, словно хотел ее сплющить, покачнулся и стариковским шагом, словно слепой, подошел к колоде, сел на нее и сжался в комок, будто обиженный мальчишка. И лишь теперь Никита разобрался в словах Саньки, понятно стало раздражение Петра Сергеевича, когда он пришел к нему осматривать улы, и вспомнилась встреча с Ольгой на дороге, разговор в тракторе.

Никита остолбенел, боялся подойти к Петру Сергеевичу. Санька стоял в растерянности. Перед глазами Никиты поплыл туман. Он знал поворот за деревней Перехожее, где родилась его мать, за тем поворотом был перекресток, шла дорога к райгороду и на станцию. Все, кто уезжал из родных мест, добирались до того перекрестка и выходили на прямой путь в иные края...

Никита вспомнил об отце — он должен быть рядом с Петром Сергеевичем — вышел к дому и позвал Саньку.

— Зачем ты кричал? Я на твоём докачу за отцом... Дядя Петя, сейчас отец приедет... Я быстро!

20

Толки о дорожном происшествии жили долго. Ольгу и Серегу хоронили в Аниканове в один день, но в разные могилы и в разное время. Народ смог проводить в последний путь обоих покойников. Но никто из родных и близких Ольги не провожал Серегу. Не был у его могилы и Никита.

Никите тоже пришлось за поворотом выходить на перекресток и добираться до города. Но уже прошли дожди, смыли августовскую дорожную пыль, реже стали ходить машины на станцию: хлеба были вывезены, окончилась страда, затихала жизнь полей, деревень. У перекрестка Никита заметил осколок красного стекла. Но он не знал, в этом ли месте столкнулся мотоцикл со встречной машиной, обогнав идущую впереди, столкнулся в той пыльной завесе, когда опасно не только обгонять, но и тащиться на малой скорости.

От перекрестка до Засеки было шесть километров. Отец Никиты написал в рассказе: «Когда мы добрались до перекрестка, от поворота оглянулись и дали клятву никогда не уходить с родной земли, потому что везде хорошо, где нас нет, но там каждая слезинка горше горького».

Печален был отъезд Никиты на учение в город, но он жил радостью возвращений домой.